ВЕРА ФИГНЕР

ЗАПЕЧАТЛЕННЫЙ ТРУД

II

КОГДА ЧАСЫ ЖИЗНИ ОСТАНОВИЛИСЬ...

МОСКВА 1922

ВЕРА ФИГНЕР

ЗАПЕЧАТЛЕННЫЙ ТРУД

II

КОГДА ЧАСЫ ЖИЗНИ ОСТАНОВИЛИСЬ...



Москва 1922.

Р. Ц. № 1441 Тираж 3.000 экз.

Типография „ЦУСТРАН“, Москва, Серебряническ. набер., д. 23а.

* * *

Через 3 дня после появления в декабре 1921 года моей книги: „**Запечатленный труд**" я получила рукописи, оставленные мной в 1915 году за границей.

Большая часть их относилась к вышеназванной книге и осталась, вследствие 7 летней задержки, неиспользованной; зато, запоздалое получение приготовленного материала дало мне возможность уже в мае сдать в типографию текст выпускаемой теперь книги о Шлиссельбурге: „**Когда часы жизни остановились**".

В полученных рукописях заключались главы, которые по своей важности казались мне центральными и, вместе с тем, в психологическом отношении были наиболее трудными и, может быть, даже невозможными для восстановления при тех потрясениях, которые вызвала революция, коренным образом изменившая, как условия нашей жизни, так и наши настроения.

Этими главами, написанными за границей, были: прежде всего, глава, открывающая эту книгу—„**День первый**",—тот **первый** день безнадежного, бесправного состояния, когда из Петропавловской крепости я была перевезена в Шлиссельбург. Эта глава вылилась у меня сразу, без всяких поправок в 1910 г.[1]) и положила начало всему труду. Только через 3 года, весной 1914 г., я вернулась к дальнейшему описанию переживаний в Шлиссельбургской крепости в главах: „Голодовка", „Погоны", „Под угрозой", „Нарушенное слово", „Страх жизни", „Мать" и „Накануне", при чем последние пять были первоначально объединены под общим заглавием: „Свобода", которое теперь я нашла неудачным.

За границей же была написана обширная глава „Через 18 лет", из которой теперь я выделила: „Мастерские и огороды", „Книги и журналы" и „Чатокуа".

По возвращении из-за границы, в начале 1915 года, только летом 16-го года я приступила к работе, когда жила у моих

---

[1]) 14/XII 1910 г.

друзей, сестер С. Н. и М. Н. Володиных, в их имении „Воронец" (Елецкого уезда), где я была окружена такой заботливостью, покоем и удобствами, что могла вполне отдаться своей теме, и написала, как говорят, одни из лучших глав моей книги: „Материнское благословение", „Полундра" и „Первое свиданье", которое заканчивает эту книгу.

Было бы скучно перечислять, когда и где было написано все остальное. Скажу одно: в то время, как глава II-я („Первые годы") относится к февралю 21-го года, предпоследняя—„Сожженные письма" написана в июне 22-го.

Таким образом, написание этой книги шло на протяжении 12-ти лет—срок очень большой, и в течение всего этого времени содержание ее не переставало тяготеть над моей душой.

Теперь я могу вздохнуть свободно: что написано—то отрезано, и дает простор моей мысли и настроениям.

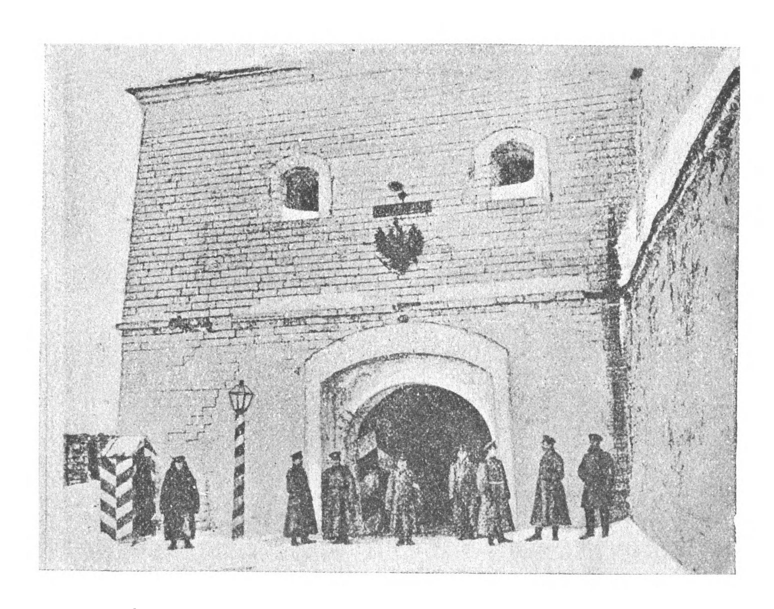
„Довлеет дневи злоба его": новое время—новые песни, а моя книга—песнь о том, что было, кончилось и не вернется.

Но если она и говорит о прошлом и не вносит ничего в практическую жизнь настоящей революционной минуты, то, во всяком случае, наступит время, когда она будет нужна. Если не воскресают мертвые, то книги воскресают. Разве „Мои темницы", Сильвио Пеллико, книга Де-Костера „Уленшпигель", которую зовут библией Нидерландов, не живут для нас, хотя написаны—одна сто лет назад, а другая—описывает события борьбы XVI-го столетия.

„Пишите", говорила мне при встрече за границей великая трагическая артистка—Элеонора Дузе. „Пишите; **вы должны** писать; ваш опыт **не должен** пропасть".

Так пусть же мой опыт из того времени, „когда часы жизни остановились", не пропадет для тех, кто будет жить в условиях непрестанного движения часовой стрелки, которая будет двигаться все вперед, вперед, в направлении к истинному равенству и свободе—благу России и всего человечества.

Вера Фигнер



Главный вход в Шлиссельбургскую крепость.

ГЛАВА I.

День первый.

Утром, 12-го октября 1884 г., в камере Петропавловской крепости было сумеречно, почти темно, когда в нее ворвался «присяжный», как называют отставных солдат, исполняющих на ряду с жандармами внутреннюю службу в крепости. Это был самый злой стражник: седая крыса, которой надоели служба, обязанности, ответственность и сами заключенные, которых он сторожил, как цепная собака, целые десятки лет. Жизнь, должно быть, не баловала его, и теперь старый, больной и ожесточенный, он срывал, на ком мог, свои претензии на судьбу.

Я запомнила его с первого раза. Как только меня привезли в крепость, прежде чем запереть дверь камеры, в которую я вступала, как новичок—он сердито буркнул: «Здесь петь не полагается!» Я остолбенела. Я и не думала петь. «Петь?!»—сказала я. «Да кому же придет это в голову?!»

В самом деле, разве при вступлении в крепостные стены душа не была полна серьезных чувств и важных мыслей? Петь, вступая в эти стены, разве это не было бы профанацией места, освященного страданиями многих поколений?!

Теперь, 12 октября 1884 г., ворвавшись в камеру, когда я была еще в постели, он со злостью поставил на пол пару громадных валенок, а на кровать бросил нагольный полушубок, и сердито прошипел: «Вставайте»! Скорей вставайте!.. да теплее одевайтесь!»...

«Что такое? *Что со мной будут делать?*» думала я. С тех пор, как меня арестовали, сию же минуту я почувствовала, что уже не принадлежу себе. С тех пор я уже не спрашивала себя, что *я* буду делать? но всегда, *что со мной будут делать?* Ведь потерять свободу, именно значит потерять право собственности на свое тело.

Что со мной будут делать? Что? размышляла я и быстро кончала туалет каторжанки. Он был не многосложен: онучи и коты; старая, грязная, вся изъеденная молью, юбка солдатского сукна; пропитанный чьим-то потом арестантский халат и белый холщевый платок—на голову. Мыла уже 10 дней не было; гребенки, зубного порошка и щетки тоже осужденной не полагалось.

...И все время—мысль: что «они» со мной сделают? Быть может, повезут казнить?... Но ведь всего три дня назад мне объявили о помиловании, и старый комендант торжественно провозгласил: «на каторгу без срока»!..

Но у меня за два года полного одиночества в голове что-то путалось: реальное стушевывалось... возможное и невозможное странно перемещались и *невозможное* казалось как будто бы возможным...

Что же, быть может, и казнят! Или казнить будут не меня, а товарищей, а меня поставят рядом, чтоб я видела и испытала. Почему же нет? Ведь было же так с Достоевским и другими!... Отчего бы не повториться!...

Но почему же «присяжный» сказал: одевайтесь теплее! значит—повезут куда-то; повезут далеко и будет холодно. Ну, куда же, куда?!

На большую площадь, залитую народом, и где стоит эшафот?.. Или в Сибирь? Посадят в сани между двумя жандармами, и мы поскачем от Петербурга до рудников Кары, где находятся женщины, осужденные раньше...

...На дворе стояла осень, и еще накануне снега не

было, но валенки и шуба рисовали непременно снежную равнину, сани и тройку...

В сопровождении жандармов я прошла корридор и мы спустились по лестнице в комнату перед кордегардией. Там, у стола, стоял смотритель в своей тужурке, а подле окна, спиной ко мне, какой-то человек, плотный и приземистый, в штатском.

«Дайте руку!»—сказал смотритель.

Я протянула, ничего не понимая.

Мгновенно человек в темном повернулся ко мне и осторожно взял на минуту мою руку, как берет доктор, щупая пульс.

«Что такое?»—подумала я. «Вероятно, это фельдшер! Зачем он? Зачем им мой пульс? Неужели предстоит что-нибудь такое, отчего я могу упасть в обморок!..» Темная, невероятная мысль мелькнула. И я почувствовала, как сердце в груди начало биться все медленнее и медленнее... Я собрала все силы...

А предполагаемый фельдшер снова повернулся к окну, спиной ко мне.

И опять смотритель говорит: «Дайте руки!»

В тот же момент черный субъект стоит лицом к лицу со мной и в руках у него кольчатая цепь! Страх перед *неизвестным* сменился яростью перед реальным.

Бешенство, неудержимое, овладело мной: «Как! я свободная личность! и на меня наденут цепь—эту эмблему рабства!.. Этой цепью хотят сковать мою мысль, мою волю!..»

Вся кровь хлынула куда-то, и в гневе, вся дрожа, я топнула ногой, и в то время, как руки мои связывали, я заговорила с жаром, обращаясь к смотрителю: «Скажите моей матери!.. Скажите ей, что что̀ бы со мной ни делали—я останусь все той же!..»

— Хорошо, хорошо!—забормотал смотритель, почти в испуге.

...«И еще скажите, чтоб она не горевала: если будут книги и я хоть что-нибудь буду знать о ней—то бо̀льшего мне не надо!»...

— Хорошо! все скажу... все скажу!—бормотал в смущении смотритель.

Мы прошли сквозь строй солдат, вытянувшихся в кордегардии, и вышли в маленький дворик. По ту сторону решетки, отделяющей Трубецкой бастион от крепостной площади, стояла карета, а подле нее, в шинелях, два вооруженных жандарма. Проходя те несколько шагов, которые отделяли меня от кареты, я увидела одного из «присяжных»—самого веселого и самого добродушного. Это был малый небольшого роста, с меднокрасным лицом и рыжеватой растительностью. Большой шрам пересекал его щеку подле левого глаза вплоть до виска. И всегда-то он смотрел на меня ласково и улыбался. Он как-будто говорил этим: «Эх, барынька! Все-то вы худеете, все-то вы бледнеете! Да полно же! Ну, право, в жизни есть и радости!...» И мне становилось легче в моем одиночестве.

Теперь, видимо, нарочно он стал на пути: его лицо было серьезно и печально. Наши глаза встретились и горло мое сжалось—добряк смотрел на меня с таким состраданием!.. «О, не плачь... не вздумай заплакать, Вера! Расплакаться в такую минуту,—прямо позорно! уговаривала я себя»... Но, *как* я была тронута, *как* тронута... Этот взгляд я унесла с собой в живую могилу, и там он служил мне утешеньем: простой русский человек, солдатик, который добросовестно стерег меня—душою был со мной!... он мне сочувствовал, он меня жалел!.. Он был последним и единственным, который проводил меня и проводил лаской на новую, как ночь, темную жизнь...

«Куда меня везут?»—спросила я смотрителя, когда мы сели в карету.

— «Не знаю»—сказал он.

Мы повернули из крепости направо, вдоль набережной Невы. Минуты казались часами... Но вот карета остановилась; мы вышли: передо мной были маленькие сходни и пароход. На нем не было видно ни души.

Жандармы подхватили меня и почти перенесли на палубу.—Затем мы спустились в каюту, окна которой были тщательно закрыты занавесками. Пароход двинулся, и шел... шел...

Часа через 2—3 пришел офицер. Спрашивает: не хочу ли я есть?

«Нет!»

Опять приходит. Спрашивает: не хочу ли чаю?

Отвечаю сурово: «Нет».

Пусть не подходит. Пусть не спрашивает. Я хочу молчать. Я *должна* молчать. Я не могу слышать мой собственный голос... За 20 месяцев полного одиночества, когда приходилось говорить лишь *раз* в две недели, когда на 20 минут приходили мать и сестра,—этот несчастный голос так изменился: стал так тонок, так жалобен и звонок... Он звучал предательски—он выдавал меня.

А пароход все шел куда-то, шел и уносил меня в неизвестное.

Сначала я думала, не на уединенную ли пристань какую? А с нее, быть может, на железную дорогу или в повозку.

Или в Кексгольм? Я слышала что-то об этой крепости в Финляндии.

Не в Шлиссельбург ли? В Петро-Павловской крепости я прочла в книге, что там для Народовольцев выстроена тюрьма на 40 человек, и на суде один из товарищей прокричал: «Всех нас—в Шлиссельбург!»

Часов через 5 пароход куда-то пристал.

Жандармы зашевелились и сказали: «Наверх!»

Там быстро и крепко, словно железными тисками, они схватили меня за руки, снесли на землю и повели.

...Впереди стояли белые стены и белые башни из известняка. Вверху на высоком шпице блестел золотой ключ.

Сомненья не было—то был *Шлиссельбург*. И вознесенный к небу ключ—словно эмблема—говорил, *что выхода—не будет*.

Двуглавый орел распустил крылья, осеняя вход в крепость, а выветрившаяся надпись гласила: «*Государева*»... И было что-то мстительное, личное в этом слове, что больно кольнуло.

В сопровождении целой толпы каких-то людей, о которых я гораздо позднее сообразила, что это были офицеры, жандармы и солдаты,—мы прошли в ворота. И тут я увидела нечто совсем неожиданное.

То была какая-то идиллия. Дачное место? земледельческая колония? что-то в этом роде—тихое, простое...

Налево—длинное белое двухэтажное здание, которое могло быть Институтом, но было казармой... Направо—несколько отдельных домов, таких белых, славных, с садиками около каждого,—а в промежутке обширный луг с кустами и купами деревьев. Листва теперь уже опала, но как, должно быть, хорошо тут летом, когда кругом все зеленеет! А в конце—белая церковь с золотым крестом. И говорит она о чем-то мирном, тихом и напоминает родную деревню.

Все дальше двигается толпа и вот открылось здание из красного кирпича: два этажа, подслеповатые окна и две высокие трубы на крыше: ни дать, ни взять—какая-нибудь фабрика.

Перед зданием красная кирпичная стена и железные ворота, окрашенные в красное и теперь раскрытые настежь.

Толпа вместе со мной втискивается в ворота и ползет на крыльцо, которое выглядит почти приветливо.

Мы в корридоре, а потом в довольно просторной комнате со сводом. Это—дежурная. В одном углу—ванна.

«Руки!»—говорит смотритель.

Я протягиваю их и, повозившись, он отпирает замки и цепь уносят.

Потом все исчезают. Остаюсь я, молодой человек в мундире военного врача и неизвестно откуда взявшаяся пожилая женщина с физиономией и манерами экономки из «хорошего дома».

И что же? доктор садится за стол, ко мне спиной, а женщина начинает меня раздевать.

Несколько минут—и я стою голая.

Было ли мне больно?—Нет...

Было ли мне стыдно?—Нет...

Мне было—все равно! Душа куда-то улетела, ушла или сжалась в совсем маленький комочек. Осталось одно тело, не знающее ни стыда, ни нравственной боли...

Доктор встал, обошел вокруг меня и что-то записал. Затем вышел.

Меня привезли сюда навсегда... Я не должна была ни-

когда выйти отсюда, но все же, все же надо было меня оголить, надо было записать в книгу, есть ли особые приметы на моем теле или нет!..

За четыре года пред тем с моей сестрой, Евгенией, после суда проделали то же самое.

Возмущенная, я рассказала об этом министру внутренних дел, графу Толстому, когда, после моего ареста, он пожелал меня видеть.

«Это злоупотребление»,—сказал он. «Этого не должно быть!»..

И, вот, несмотря на это,—быть может именно поэтому, потому, что я возмущалась,—со мной проделали то же самое!

И я не протестовала, не кричала... Не царапалась и не кусалась...

Когда мы в детстве читаем о древнем Риме, о том, как, на потеху толпы, цезари выводили молодых женщин-христианок на арену цирка и потом выпускали льва,—чему мы учились? о чем читали?

Эти женщины не кричали, не сопротивлялись!..

Но и у меня был свой бог, своя религия: религия свободы, равенства и братства. И во славу этого учения я должна была перенести все.

После ванны, которую надо было принять, вероятно, для того, чтобы узнать, нет ли чего спрятанного,—женщина исчезла, а меня повели наверх.

Два этажа тюремного здания ничем не разделены, кроме металлической сетки и узкого бордюра, который, в виде балкона, проходит вдоль ряда камер верхнего этажа. Благодаря такому устройству, вся внутренность тюрьмы, все 40 железных дверей камер видны сразу.

Металлическая сетка в середине пересекается узким мостиком, который упирается в камеру № 26. «Мост вздохов», подумала я, когда меня повели по нему. Я вспомнила дворец венецианских дожей, где мост с этим названием был единственной дорогой, по которой венецианские крамольники шли из казематов на плаху.

По шлиссельбургскому мосту вздохов я проходила ежедневно много, много лет: меня заперли в № 26. Дверь захлопнулась, и, в изнеможении, я опустилась на койку.

Новая жизнь началась. Жизнь среди мертвенной тишины, той тишины, к которой вечно прислушиваешься и которую слышишь; тишины, которая, мало-по-малу, завладевает тобой, обволакивает тебя, проникает во все поры твоего тела, в твой ум, в твою душу. Какая она жуткая в своем безмолвии, какая она страшная в своем беззвучии и в своих нечаянных перерывах. Постепенно, среди нее к тебе прокрадывается ощущение близости какой-то тайны: все становится необычайным, загадочным, как в лунную ночь, в одиночестве, в тени безмолвного леса. Все таинственно, все непонятно. Среди этой тишины реальное становится смутным и нереальным, а воображаемое кажется реальным. Все перепутывается, все смешивается. День, длинный, серый, утомительный в своей праздности, похож на сон без сновидений..., а ночью видишь сны, такие яркие, такие жгучие, что надо убеждать себя, что это—одна греза... И так живешь, что сон кажется жизнью, а жизнь—сновиденьем.

А звуки! эти проклятые звуки, которые вдруг нежданно-негаданно ворвутся, напугают и исчезнут... Где-то раздается шипенье, точно большая змея лезет из-под полу, чтоб обвить тебя холодными скользкими кольцами...

Но ведь это только вода шипит где-то внизу, в водопроводе.

Чудятся люди, замурованные в каменные мешки... Звучит тихий-тихий, подавленный стон... и кажется, что это человек задыхается под грудою камней...

О нет! ведь это только маленький, совсем маленький, сухенький кашель больного туберкулезом.

Звякнет ли где посуда, опустится где-нибудь металлическая ножка койки—воображение рисует цепи, кандалы, которыми стучат связаные люди.

Что же тут реально? Что тут есть, и чего нет? Тихо, тихо, как в могиле, и вдруг легкий шорох у двери—это заглянул жандарм в стеклышко двери и прикрыл его задвижкой. И оттуда словно протянута проволока электрической баттареи. Проводы на минуту коснулись твоего тела и по нему бежит разряд и ударяет в руки, в ноги... мелкие иглы

вонзаются в концы пальцев, и все тело, глупое, неразумное тело, вздрогнув с силою раз, дрожит мелкой дрожью томительно и долго... Оно боится чего-то, и сердце сжимается и не хочет лежать смирно.

А ночью сны! эти безумные сны. Видишь бегство, преследование, жандармов, перестрелку... арест. Видишь ведут кого-то на казнь... Толпа, возбужденная, гневная; красные лица, искаженные злобой... Но чаще всего видишь пытку. Пытают горячим паром, который вылетает из сотен тонких трубочек в стене, в потолке, в полу:—он жжет, он бьет... он ужасен, от него спасенья нет—камера заперта... в ней пусто, совсем пусто... в ней только горячие струйки везде и всюду...

Пытают электричеством. Ты сидишь на деревянном кресле, какие были в кордегардии, и встать не можешь, и через тебя кто-то невидимый пропускает ток. Раз... раз... ты просыпаешься—нервы рук на всем протяжении дребезжат или судорога сжала мускулы ноги в один твердый, как железо, комок.

В душе лишь одно здоровое место и оно твердит:

«Мужайся, Вера, и крепись! Вспомни весь народ русский, как он живет! Вспомни всех обездоленных мира! вспомни подавляющий труд, жизнь без света радости: вспомни унижение, голод, болезнь и нищету...»

«Будь тверда! Не плачь, что у тебя отняли мать, которую не отнимают у гнусного растлителя и корыстного убийцы ... Не плачь о неудачах борьбы, о погибших товарищах... Не плачь над развалинами, которые покрыли поле твоей жизни»!..

«Не бойся! Не бойся! В этой таинственной тиши, за этими глухими камнями невидимо присутствуют твои друзья. Не одной тебе здесь тяжело, тяжело и им... Подумай о них! Они не видимы—но они тут! Ты их не слышишь—но они тут!.. Они стерегут тебя и, как бесплотные духи, охраняют тебя... Ничего не случится... ничего не случится... Ты не одна... ты не одна!...»

ГЛАВА II.

Первые годы.

Мы были лишены всего: родины и человечества, друзей, товарищей и семьи; отрезаны от всего живого и всех живущих.

Свет дня застлали матовые стекла двойных рам, а крепостные стены скрыли дальний горизонт, поля и людские поселения.

Из всей земли нам оставили тюремный двор, а от широт небесного свода—маленький лоскут над узким, тесным загончиком, в котором происходила прогулка.

Из всех людей остались лишь жандармы, для нас глухие, как статуи, с лицами, неподвижными, как маски.

И жизнь текла без впечатлений, без встреч. Сложная по внутренним переживаниям, но извне такая упрощенная, безмерно опорожненная, почти прозрачная, что казалась сном без видений, а сон, в котором есть движение, есть смена лиц и краски, казался реальной действительностью.

День походил на день, неделя на неделю и месяц на месяц. Смутные и неопределенные, они накладывались друг на друга, как тонкие фотографические пластинки, с неясными изображениями, снятыми в пасмурную погоду.

Иногда казалось, что *нет ничего, кроме «я» и времени*, и оно тянется в бесконечной протяжности.

Часов не было, но была смена наружного караула: тяжелыми мерными шагами он огибал тюремное здание и направлялся к высокой стене, на которой стояли часовые.

Камера, вначале белая, внизу крапленная, скоро превратилась в мрачный ящик: асфальтовый пол выкрасили черной масляной краской; стены вверху—в серый, внизу—почти до высоты человеческого роста—в густой, почти черный цвет свинца.

Каждый, войдя в такую перекрашеную камеру, мысленно произносил «это гроб»!

И вся внутренность тюрьмы походила на склеп.

Однажды, когда я была наказана и меня вели в карцер, я видела ее при ночном освещении.

Небольшие лампочки, повешенные по стенам, освещали два этажа здания, разделенные лишь узким балконом и сеткой.

Эти лампы горели, как неугасимые лампады в маленьких часовнях на кладбище, и 40 наглухо замкнутых дверей, за которыми томились узники, походили на ряд гробов, поставленных стоймя.

Со всех сторон нас обступала тайна и окружала неизвестность: не было ни свиданий, ни переписки с родными. Ни одна весть не должна была ни приходить к нам, ни исходить от нас. *Ни о ком* и *ни о чем* не должны были мы знать, и *никто* не должен был знать, *где* мы?.. *Что* мы?..

— Вы узнаете о своей дочери, когда она будет в гробу, сказал один сановник обо мне в ответ на вопрос моей матери [1].

Самые имена наши предавались забвению: вместо фамилий—нас обозначили номерами, как казенные вещи или бумаги: мы стали № 11; № 4; № 32...

Неизвестна была местность, окружающая нас—мы не видали ее. Неизвестно здание, в котором нас поселили, мы не могли обойти и осмотреть его. Неизвестны узники, находящиеся тут же, рядом, соединенные под одной кровлей, но разъединенные толстыми каменными стенами.

Исчезло все обычное и привычное, все близкое, понятное и родное.

Осталось незнакомое, чуждое, чужое и непонятное.

И над всем стояла, все давила тишина. Не та тишина среди живых, в которой нервы отдыхают. Нет! то была тишина мертвых, та жуткая тишина, которая захватывает человека, когда он долго остается наедине с покойником. Она молчала, эта тишина; но, молча, говорила *о чем-то, что* будет; она *внушала* что-то, грозила *чем-то.*

Это тишина была *вещей.*

Человек настороживался, прислушивался к ней, готовился к чему-то, и ждал...

Не могла же эта тишина продолжаться вечно?!

---

[1]) Тов. министра в. д. Оржевский.

Должна же она чем-нибудь кончиться! Предчувствие грядущего начинало томить душу: среди этой *вещей* тишины *должно* что-то произойти; *должно* что-то случиться. *Неотвратимое*, оно произойдет; *непоправимое*—оно случится, и будет страшным, страшнее всего страшного, что уже есть.

И шел день, похожий на день, и приходила ночь, похожая на ночь.

Приходили и уходили месяцы; проходил и прошел год—год первый; и был год, как один день и как одна ночь.

. . . .

. . . .

В Шлиссельбург привозили не для того, чтобы жить.

В первые же годы умерли: Малавский, Буцевич, Крыжановский, Немоловский, Тихонович, Кобылянский, Арончик, Гелис, Исаев, Игнатий Иванов, Буцинский, Долгушин, Златопольский, Богданович, Варынский; за протест были расстреляны: Минаков, Мышкин; повесился Клименко; сжег себя Грачевский; сошли съума: Ювачев, Щедрин, Конашевич, заболевал душевно, но поправился Шебалин. Позднее умер Юрковский, сошел съума и умер Похитонов.

На восьмом году нашего заключения зарезалась Софья Гинзбург: она не вынесла больше месяца той изоляции, которую мы выносили годы, а тогда уже не было первого коменданта—пергаментного Покрошинского и первого смотрителя—железного Соколова.

И те, которые выходили из Шлиссельбурга, не могли уже жить: Янович и Мартынов застрелились в Сибири; Поливанов покончил с собой заграницей. Переживания Шлиссельбурга высосали из них все жизненные силы; в нем они истратили всю способность сопротивляться неудачам и несчастиям жизни—им нечем было жить.

Мое настроение в эти годы было подавленное. Кого не придавил бы Шлиссельбург? И что мы, Народовольцы, принесли с собой в Шлиссельбург?

Революционное движение было разбито, организация разрушена, Исполнительный Комитет погиб до последнего человека.

Народ и общество не поддержали нас. Мы оказались одиноки... Туже затягивалась петля самодержавия и, уходя из жизни, мы не оставляли наследников, которые продолжали бы начатую борьбу.

Для меня Шлиссельбург дал еще нечто непредвиденное, к чему я не приготовлялась; к чему не была готова.

Была радость. *Последняя* радость в жизни—была мать. Эту радость отняли—отняли мать, единственную, которая связывала с жизнью, единственную, к которой можно было прильнуть, падая на дно.

Угасла радость, но, угасая, оставила жгучую скорбь.

На свободе я жила без матери: и лишь изредка, мысленно, обращалась к ней.

Но тогда у меня была родина, была деятельность, были привязанности и дружба; было товарищество.

А теперь? *Никого. Ничего.*

И мать—эта *последняя* потеря, потеря *последнего* стала как бы символом *всех* потерь, великих и малых, *всех* лишений, крупных и мелких.

Никогда в сознании у меня не рождалось сожаления, что я выбрала путь, который привел сюда. Этот путь избрала *моя воля*—сожаления быть не могло.

Сожаления не было—а страдание было.

Никогда в сознании у меня не рождалось сожаления, что на мне не тонкое белье и платье, а грубая дерюга и халат с тузом на спине.

Сожаления не было, а страдание было.

В сознании была только мать, одна мать, одна, все застилающая скорбь разлуки с ней. Но эта скорбь поглощала, воплощала в себе *все* страдания, *все* скорби: скорбь раздавленных и оскорбленных стремлений духа, и скорбь угнетенных и униженных привычек плоти.

И скорбь, символизованная в образе матери, приобретала едкую горечь всех потерь, всех лишений, ту непреодолимую силу, которая дается чувству всем тем, что, не доходя до сознания, кроется в темных глубинах *Подсознательного.*

Затемненной душе грозила гибель.

Но, когда—еще немного—и возвращаться было бы поздно, внутренний голос сказал: «Остановись!» Это сказал не страх смерти. Смерть казалась желанной, она сплеталась с идеей мученичества, понятие о святости которого закладывалось в детстве традициями христианства, а затем укреплялось всей историей борьбы за право угнетенных.

Остановил страх безумия, этой деградации человека, унижения его духа и плоти.

Но остановиться—значило—стремиться к норме, к душевному выздоровлению.

И этому помогли друзья.

Засветились маленькие огоньки, как огни восковых свечей на вербное воскресенье. Заговорили немые стены Шлиссельбурга—завязались сношения с товарищами.

Они дали ласку, давали любовь и таяла от них ледяная кора Шлиссельбурга.

...Были и другие влияния, строгие слова, уроки. Однажды, сосед, незнакомый мне человек, спросил: что я делаю?

«Думаю о матери, и—плачу»,—отвечала я.

Сосед на меня обрушился. Он спрашивал, читала ли я в Отечественных Записках воспоминания Симона Мейера, коммунара?

Помню ли я сцену на корабле во время морской качки, когда коммунарам начинают брить голову?

Он ставил мне в пример этого Симона Мейера, одного из многих тысяч коммунаров. Он поучал. И это меня взорвало. Воспоминания Симона Мейера, коммунара, я читала. Сцену на корабле и многое другое помнила. «К чему это поучение?» думала я; «Не нуждаюсь я в этом поучении».

Но в поучении-то именно я и нуждаюсь.

Если бы сосед посочувствовал, стал ласково утешать—ничего не вышло бы: его слова совпали бы с моим настроением.

Но он явно порицал; он наставлял, и возбудил досаду. И досада была спасительна. Она находилась в противоречии с обычным душевным состоянием моим, она разрывала его, была несовместима с ним.

В одиночестве мелочь иногда разростается до необычайных размеров; она вонзается в сознание, сверлит его. Так было и теперь. Я не могла отвязаться от мысли о словах соседа. Стена, разделявшая нас, каждый день напоминала наш разговор, и каждый раз я вспоминала о нем с неприятным чувством раздражения и досады.

Непрерывность моей тоски ломалась этим, и это было полезно.

Было и другое—несравнимо большое.

Суд был последним заключительным актом революционной драмы, в которой я участвовала. Общественная деятельность была им завершена.

Осужденная, я чувствовала себя уже не общественным деятелем, а только человеком. Все напряжение, в котором воля держала меня на свободе и в ожидании суда—упало; для воли казалось нет заданий, «и человек восстал во мне, подавленный и угнетенный». Этот человек мог страдать безудержно, без самодисциплины и этим помогать одолеть себя болезни и смерти.

Я забывала, что, раз вступив на общественное поприще, я не могу быть просто человеком, что я и *больше* и *меньше*, чем человек, и что общественная задача *еще не кончена*.

То, что мы, как революционный коллектив, записали Народную Волю в историю нашего времени и что Шлиссельбург—эта русская Бастилия, сыграет свою роль в умах современников и покроет нас своим сиянием—об этом не было в мысли ни у меня, ни у других: мы были слишком скромны для этого.

И, вот, на 5-ом году, после общей голодовки, кончившейся неудачей, не доведенной до условленного конца, когда я была ближе к смерти, чем когда-нибудь, и *хотела* умереть, но наперекор себе была вынуждена жить; когда в душе было разочарование, было отчаяние, и мои нервы были потрясены окончательно—в это время я услышала слова, которые говорил человек, наиболее из нас одаренный.

Он говорил *не мне*, но *обо мне*, и я—слышала.

Он говорил: *Вера принадлежит не только друзьям,— она принадлежит России...*

Эти слова возносили на высоту, о которой невозможно было и помышлять; на высоту, быть на которой страшно. Она давит—эта высота; она обязывает и накладывает обязательства сверх сил.

Но, если эти слова были сказаны и были услышаны— они ставили идеал; идеал недостижимый; но, хотя и недостижимый—к нему надо было стремиться.

Эти слова давали задание для воли: *стремиться быть достойной*, задание *работать над собой*, бороться и *преодолевать себя.*

Бороться! преодолевать! победить себя! победить болезнь, безумие и смерть!..

Но как бороться, как преодолевать??

Преодолевать—значило разогнать темноту души, *отодвинуть* все, что темнит глаз.

Но отогнать значило—забыть.

И я стремилась—забыть. Я гнала воспоминания; я заколачивала их в гроб.

Десять лет заколачивала—десять лет забывала; десять лет для меня умирала мать и замирала тоска по родине, по деятельности и свободе.

Умирала скорбь—умирала и любовь.

Снег шел... и белой пеленой покрывал прошлое.

...А я?.. Я была жива. Я была здорова.

ГЛАВА III.

Расстрелы.

В первое же полугодие по открытии новой Шлиссельбургской тюрьмы в ней было два расстрела: расстреляли, как я уже упоминала, Минакова и Мышкина. Оба не были новичками.

Минаков был осужден в 1879 году в Одессе по доносу провокатора, которого Минаков будто бы собирался убить.

Сосланный в каторжные работы на Кару, он, после попытки к бегству, был возвращен в Европейскую Россию и заключен сначала в Петропавловскую крепость, а потом перевезен в Шлиссельбургскую тюрьму, как только она была отстроена. Шлиссельбург означал конец надеждам, и Минаков не захотел медленно умирать в новой Бастилии — «колодой гнить, упавшей в ил», как он выразился в своем стихотворении. Он потребовал переписки и свидания с родными, книг и табаку, и объявил голодовку, а затем дал пощечину тюремному врачу Заркевичу.

В крепости рассказывали, что пощечина была дана при попытке врача кормить Минакова искусственно. Но из документов, открытых после революции 1917 г., видно, что Минаков страдал галлюцинациями вкуса, и подозревал, что врач подмешивает к пище яд, чтоб отравить его.

Если это так, то тем возмутительнее, что человек, психически ненормальный, был предан военному суду и через 24 часа расстрелян.

Подать прошение о помиловании Минаков отказался.

Это было в сентябре 1884 г., за месяц до того, как я и мои товарищи по процессу 14-ти были привезены в крепость.

А в декабре, в день Рождества, вся тюрьма была потрясена сценой в одной из камер.

За раздачей ужина мы услыхали звон металлической посуды, упавшей на пол, шум свалки и задыхающийся нервный голос, который говорил: «Не бейте! Не бейте! Казните, а не бейте!»

Это был Мышкин—одна из самых многострадальных фигур русского революционного движения.

Мещанин г. Москвы, Мышкин владел небольшой типографией на Арбате. Наборщиками была интеллигентная молодежь; все работающие, вместе с Мышкиным, жили коммуной в том доме, где помещалась типография. С. А. Иванова очень мило рассказывает, как она попала в эту дружескую коммуну. Провинциальная барышня с Кавказа, она оставила родных, чтобы увидеть свет и найти тех умных, развитых людей, о которых говорили хорошие книжки. Они-то и по-

тянули ее вдаль из глуши, с ее мелкими интересами. Приехав в Москву без средств, но с желаньем работать, она с первых же дней должна была искать занятий и, после нескольких более или менее неудачных попыток устроиться, наткнулась на указание—просить работы в типографии Мышкина. Мыщкин принял ее. Мало по малу она научилась ремеслу наборщицы, освоилась с молодой компанией, которая по развитию была выше ее и понемногу подтягивала новоприбывшую к своему уровню.

Мышкин был социалистом и находился в связи с теми, кто собирался «итти в народ». В типографии стали набирать нелегальные издания того времени. Это было жутко приятною жутью от сознания, что делаешь что-то опасное и вместе с тем хорошее, и молодежь работала, не думая о последствиях, с наивным непониманием, к чему это приведет.

Полиция напала на след нелегальной работы в типографии, произошел обыск, работающие были арестованы; но Мышкина успели предупредить; он скрылся и уехал за границу. Там он составил план отправиться в Сибирь и единоличными силами освободить Чернышевского. В форме жандармского офицера он явился в гор. Вилюйск, в котором содержался Чернышевский, и предъявил исправнику подложный приказ Ш-го отделения о передаче ему Чернышевского для препровождения в Петербург. Но исправнику показалось подозрительным, что предъявитель обошел высшую местную инстанцию—Якутского губернатора, и он предложил Мышкину отправиться в Якутск, приставив к нему, под видом провожатых, двух казаков. Мышкин понял, что дело проиграно, и решил отделаться от навязанных спутников—под Якутском он застрелил одного из них, но другой ускользнул и успел скрыться.

Мышкин был пойман, отправлен в Петербург и, по связи с лицами, ходившими в народ, предан вместе с ними суду по процессу 193-х.

Подсудимые этого процесса сговорились выставить *одного* оратора и поручить ему сказать революционную речь, выработанную сообща. Выбор пал на Мышкина, и он выполнил задачу с энергией и выразительностью, не оставляв-

шей желать ничего лучшего. Напрасно председатель особого присутствия сената, Петерс, возвышал голос и грубыми окриками старался остановить резкую речь оратора. Все было тщетно: Петерс был вынужден прервать заседание; суд удалился; жандармы бросились к Мышкину, чтобы вывести его из зала, а подсудимые кинулись защищать товарища. Так, среди общего крика и истерических рыданий женщин, произошла свалка, неслыханная в летописях суда.

Мышкин, уже просидевший в тюрьме три года до суда, получил по приговору десять лет каторги, но не попал в Сибирь, а был отправлен в централ Харьковской губернии в Печенегах. Там в ужасных условиях он пробыл с 1878 по 1880 г., когда после взрыва в Зимнем дворце, сделанного Народовольцами, правительство учредило диктатуру Лорис-Меликова, и по его распоряжению каторжане централа были переведены на Кару. Спустя два года, целая партия карийцев, в том числе и Мышкин, бежала с Кары; он добрался уже до Владивостока, когда, благодаря отсутствию связей, был узнан, пойман и отправлен в Петербург. Его посадили в Алексеевский равелин, где медленно умирали Народовольцы.

В равелине Мышкин не раз пытался поднять общий бунт против его убийственного режима: он приглашал товарищей кричать, шуметь, бить и разрушать все, что было под рукой; но призывы не находили сочувствия. Равелин не двинулся.

Потом всех перевезли в Шлиссельбург.

Почти десять лет прошли в переходах Мышкина из одного застенка в другой, и, вот, после всех мытарств и скитаний, он попадает в самую безнадежную из русских Бастилий. Это превысило силы даже такого твердого человека, каким был Мышкин. Он решился умереть—нанести оскорбление действием смотрителю тюрьмы и выйти на суд; выйти, чтоб разоблачить жестокую тайну Шлиссельбурга, разоблачить, как он думал, на всю Россию, и ценою жизни добиться облегчения участи товарищей по заключению.

25 декабря 1884 г .он исполнил задуманное, и в январе

был расстрелян на том плацу старой цитадели, на котором три месяца пред тем был расстрелян Минаков.

Чрез ближайшего соседа Мышкин завещал, чтобы товарищи поддержали его общим протестом. Но тюрьма осталась неподвижна—она молчала: мы были так разобщены, что дальше одной одиночки завещание не пошло.

После казни товарищ министра внутренних дел, жандармский генерал Оржевский, посетил крепость и обошел всех нас. Результатом посещения и, как мы думали, в связи с делом Мышкина, было, что шести наиболее слабым и больным была разрешена прогулка вдвоем. Это были равелинцы: Морозов и Буцевич, вскоре умерший от туберкулеза; Тригони и Грачевский, кончивший самосожжением; Фроленко и Исаев, находящийся в последней стадии чахотки.

Прогулка вдвоем была первой брешью в нашем каменном гробу. *До этого*, хотя инструкция, висевшая на стене, говорила о прогулке вдвоем, как о награде за «хорошее поведение», это оставалось мертвой буквой.

Однако, после посещения Оржевского льгота дальше не распространялась; в течение всего 1885 г., кроме названных шести и замены умерших, никто не получил ее.

Такова была воля смотрителя: *мы все вели себя «не хорошо»*.

ГЛАВА IV.

Тюрьма дает мне друга [1]).

В начале января 1886 г., зная, что в крепости находится Людмила Александровна Волкенштейн, судившаяся, как и я, по процессу 14-ти, я обратилась к смотрителю с вопросом, почему мне не дают прогулки вдвоем?

Смотритель немного помолчал, а затем сказал: «Можно дать; только не следует»... Он согнул указательный палец и постучал в косяк, как в тюрьме разговаривают стуком в стену.

---

[1]) Эта глава воспроизводит то, что напечатано о Людмиле Волкенштейн в моей книге: „Шлиссельбургские узники“.

Я ответила, что и так стучу совсем мало.

На этом разговор кончился, и я попрежнему оставалась в одиночестве.

Но 14 января, когда меня привели на прогулку, и дверь в загончик, который мы называли 1-й «клеткой», отворилась, я неожиданно увидела фигуру в нагольном полушубке, с холщевым платком на голове, которая быстро заключила меня в объятья, и я с трудом признала, что это Волкенштейн. Вероятно, и она была столь же поражена метаморфозой, совершившейся со мной, благодаря арестантской одежде.

И так мы стояли, обнявшись, и не знали—радоваться ли нам, или плакать.

До этого я видела Волкенштейн только на суде; раньше мы не встречались и знали друг друга лишь по наслышке.

Искренность Людмилы Александровны, ее простота и необыкновенная сердечность в обращении сразу обворожили меня. Не нужно было много времени, чтобы подружиться с ней той дружбой, которая возможна только в условиях, в каких мы были. Мы походили на людей, выброшенных караблекрушением на необитаемый остров. У нас не было *никого* и *ничего*, кроме друг друга. Не только люди, но и природа, краски, звуки—все исчезло. Вместо этого был сумрачный склеп с рядом таинственных замурованных ячеек, в которых томились невидимые узники, зловещая тишина и атмосфера насилия, безумия и смерти.

Понятно, что общение двух душ в такой обстановке должно было доставлять радость и навсегда оставить в душе самое трогательное воспоминанье.

Как влият в тюремном заключении участливое, мягкое отношение товарища, знает всякий, кто побывал в тюрьме. В мемуарах П. С. Поливанова об Алексеевском равелине есть трогательный образ Колодкевича, на костылях подходившего к стене, чтобы несколькими ласковыми словами утешить Петра Сергеевича. Короткий разговор через бездушный камень, разделявщий двух узников, погибавших от цынги и одиночества, был их единственной радостью и поддержкой. По признанию автора мемуаров, не

раз доброе слово Колодкевича спасало его от острых приступов меланхолии, толкавших к самоубийству. И в самом деле, ласковое участие в тюрьме творит истинные чудеса и, если бы легкий стук в стену не разрушал каменную преграду, разделяющую человека от человека, осужденный не имел бы возможности сохранить жизнь и душу. Недаром борьба за стук—первая борьба, которую ведет узник с тюремщиками: это прямо борьба за существование и за нее, как за соломенку, бессознательно хватается всякий, замурованный в келью. Когда же наступает момент, что осужденные на одиночное заключение могут встретиться лицом к лицу и заменить символический стук живой речью, доброта души, воплощенная в звуки голоса, ласковый взгляд и дружеское рукопожатье дают отраду, неведомую для того, кто не терял свободы.

Не знаю, что давала я Л. А., но она была моим утешением, радостью и счастьем. Мои нервы и организм были потрясены в глубочайших своих основах. Я была слаба физически и измучена душевно... Общее самочувствие мое было прямо ненормально, и вот я получила друга, на которого тюремные впечатления не действовали так губительно, как на меня; и этот друг был воплощением нежности, доброты и гуманности. Все сокровища своей любящей души она щедрой рукой отдавала мне. В каком бы мрачном настроении я ни приходила, она всегда умела чем-нибудь развлечь и утешить меня. Одна ее улыбка и вид милого лица разгоняли тоску и давали радость. После свиданья я уходила успокоенной, преображенной, камера уж не казалась мне такой сумрачной, а жизнь—тяжелой. Тотчас я начинала мечтать о новой встрече завтра... Свидания были через день: тюремная дисциплина, очевидно, находила нужным разбавлять радость наших встреч днем полного одиночества. Но это, быть может, только обостряло наше стремление друг к другу и поддерживало то «праздничное» настроение, о котором впоследствии было так приятно вспоминать.

Когда в тюрьме происходило какое-нибудь несчастье, когда умирали наши товарищи, стоны и предсмертную агонию которых мы слышали отчетливо в стенах тюрьмы, за-

мечательно отзывчивой в акустическом отношении, мы встречались бледные, взволнованные и безмолвные. Стараясь не смотреть друг другу в лицо, мы целовались и, обнявшись, молча, прохаживались по дорожке, или сидели на земле [1]), прислонившись к забору, подальше от жандарма, следившего с высоты своей вышки за каждым нашим движеньем. В такие дни простая физическая близость, возможность прижаться к плечу друга—была уже отрадой и облегчала тяжесть жизни. Был в 1886 году месяц, когда один за другим умерли: Кобылянский, Исаев и Игнатий Иванов. Первый от цынги, второй от чахотки, а Игнатий Иванов, кажется, от того и другого; к тому же он был безумен!..

Пока Исаев был на ногах и ходил гулять, его громкий, хриплый и словно из пустой бочки кашель надрывал душу, если приходилось быть рядом... Иногда же нас приводили в ту самую клетку, где перед тем был он. На снегу, справа и слева, виднелась алая, только-что выброшенная им кровь... Эта не убранная, не прикрытая хотя бы снегом кровь товарища вызывала щемящую тоску... Это был символ иссякающей жизни,—жизни товарища, которому не поможет наука, никакая сила человеческая... И отвести от этой крови глаз было некуда. Небольшое пространство «клетки» было сплошь завалено снегом; оставалась лишь узкая тропинка, по которой поневоле только и приходилось ходить. Отвратительно было это палачество, которое несколькими ударами лопаты могло скрыть кровавый след, но цинично оставляло его на муку и поучение невольных посетителей... Нам же тогда не давали даже лопаты.

Предсмертные страдания Исаева были ужасны. Это была, кажется, самая тяжелая агония из всех, которые пришлось пережить. Немного морфия или опия, вероятно, облегчили бы ему борьбу со смертью и избавили от потрясения всех нас. Но ничего подобного не было сделано. Мертвая тишина стояла в тюрьме... все мы притаились, как будто сжались, и с затаенным дыханьем прислушивались к

---

1) Скамей не было.

полному затишью... не было ни звука... и среди напряженного состояния внезапно раздавался протяжный стон, скорее похожий на крик... Тяжело быть *свидетелем* расставанья человека с жизнью, но еще тяжелей и страшней быть пассивным замурованным в каменный мешок *слушателем* такого расставанья. Только в тюрьме да в доме умалишенных, который вообще имеет во многих отношениях сходство с тюрьмою, возможны потрясающие, зловещие сцены в роде этих...

Весной нам с Л. А. дали по 2 грядки [1]) в огороде. Еще задолго до того мы были сильно заинтересованы какими-то таинственными приготовлениями, скрытыми от наших взоров дощатой перегородкой: оказывается, там ставили заборы для 6 огородов; они примыкали к высокой крепостной стене и оканчивались саженях в трех от тюремного здания. На баржах была привезена где-то по дорогой цене купленная земля и в виде уже готовых гряд насыпана по огородам.

Наш огород представлял собою небольшое, продолговатое, очень невзрачное местечко, почти совсем лишенное лучей солнца. С одной стороны каменная стена, с трех остальных—3½-аршинный дощатый забор: откуда-нибудь да всегда падает тень! Однако и этот колодезь показался нам раем. Тут была земля, настоящая земля, земля полей и деревень, черная, рыхлая и прохладная. До этого мы видели в своей тесной ограде только бесплодный пустырь, плотно убитую каменистую почву, на которой не пробивалась ни одна травка. Это было устроено, конечно, для облегчения надзора, чтоб мы не завели друг с другом письменных сношений, скрывая письма среди какой-нибудь зелени. В 1886 г. в эти дворики летом с берегов реки привезли песку и положили по деревянной лопате; «для моциона», сказал смотритель. Предполагалось этой лопатой перебрасывать песок с одного места на другое и этим целесообразным способом укреплять силы заключенных. Действительно, кто не имел огорода (а его дали весьма немногим), чтоб

---

[1]) Арш. 4 длины, 1 арш. ширины каждая.

как-нибудь убить время, бросал этот песок; но потом это страшно надоело, и мы называли это занятие работами национальных мастерских во Франции 48-го года.

Когда давали огород, смотритель и вахмистр, молча, вводили заключенного и пальцем указывали одну или две гряды. Затем, также молча, вахмистр вручал пакет с огородными семенами (редис, морковь, репа, горох, брюква, мак) и, взяв щепотку, мимикой показывал, что надо делать: наклонялся к земле, делал в ней пальцем ямки и клал семячко, после чего в молчаньи удалялся вместе с присутствовавшим при всей процедуре смотрителем. Не только разговаривать, но вообще говорить что-нибудь заключенному жандармам было строго запрещено. В случае необходимости вахмистр прибегал к мимике и, благодаря этому, «впоследствии мы обозначали его шутливым прозвищем: «Мимика».

Появление молодых всходов, пробивавшаяся повсюду зелень доставляли нам несказанное удовольствие, а когда летом зацвели посаженные самими жандармами вдоль забора цветы, мы пришли в чисто детское восхищение. Мы страшно соскучились по траве, по полям и лугам, и клок зелени вызывал совершенно неожиданно приятную волну чувств в нашей изголодавшейся душе: каждая былинка была нам дорога.

Помню, придя как-то в огород, где накануне после меня гулял кто-то из товарищей, я нашла, что молодой отпрыск хмеля, весело зеленевший у забора, погребен под целым холмом набросанной на него земли. Если бы мать увидела своего ребенка задыхающимся под обрушенной на него глыбой, едва ли с большим гневом и ожесточением чем я, она стала бы разгребать руками черную землю, под которой томилось ее дитя.

После моего ареста это был *первый* случай, когда я рассердилась, и на кого же? На товарища. А я ведь думала, что в условиях, в которых мы живем, *сердиться* на *товарища*, даже *дурно подумать* о нем—*невозможно*.

Если у меня было такое отношение к растениям, то Л. А. проявляла особенную бережность к насекомым и тем не-

многим животным, которые были нам доступны. Л. А. так приручила воробьев, что они целыми стаями сидели у нее на коленях и ели крошки хлеба с ее халата... Часто, когда мы ходили под руку, я вдруг замечала, что она делает обход и тянет меня в сторону. Некоторое время я недоумевала, что это значит, а когда услыхала ответ, то не могла не рассмеяться, а потом умилилась. Эта террористка, замечая ползущую гусеницу или жука, боялась раздавить насекомое!.. А мне и в голову не приходило смотреть, бежит ли какая-нибудь маленькая тварь поперек дороги... Когда позднее у нас появились кусты малины, и маленькая гусеница стала объедать зелень, то никак нельзя было уговорить моего друга заняться собиранием вредного существа и потоплением его в лейке. Пусть лучше пропадет малина и весь куст,—истреблять живое создание она не может! Однажды много смеха возбудил ее поступок с клопом, найденным в камере и, вероятно, занесенным каким-нибудь жандармом. Л. А. тщательно завернула его в бумажку и вынесла на гулянье: здесь клоп был освобожден из бумажной обертки и осторожно выпущен на волю.

Меня очень интересовало такое отношение к животным, и я спросила, всегда ли она так относилась к ним? Она сказала, что всегда уважала жизнь во всех ее проявлениях. И у нее это, действительно, была не временная тюремная «сантиментальность», а искреннее чувство, вполне гармонировавшее со всей ее любящей натурой. Человека, более гуманного по отношению к людям, трудно было встретить, и в первые годы, когда мелкая борьба с тюремщиками не омрачала ее душу, эта гуманность и добросердечие сияли чудным блеском. Л. А. знала жизнь и знала людей и не идеализировала ни то, ни другое. Она брала их так, как они есть—смесь света и тени. За свет она любила, а тень прощала. Она имела счастливую способность находить и никогда не терять из виду хорошие стороны человека и непоколебимо верила в доброе начало, таящееся в каждом. Она была убеждена, что добро и любовь могут победить всякое зло; что не суровый приговор, не репрессия, а доброе слово, участливое, дружеское порицание—

самые действительные средства исправления. Бесконечная снисходительность во всех личных отношениях была характерным свойством Л. А. «Все мы нуждаемся в снисхождении»—было ее любимой поговоркой.

Мое собственное миросозерцание далеко не отличалось таким мягким колоритом, но в первые годы заключения, вдали от общественной борьбы и той разгоряченной атмосферы, в которой я жила на свободе, душа моя смягчилась, и общение с таким прекрасным типом любви не только к *человечеству*, но и к *человеку* производило на меня чарующее впечатление. Я чувствовала удовольствие нравственное, и вместе эстетическое: это была любовь, это была красота, красота совсем другого рода, чем жесткая энергия и непреклонная, суровая воля, которая ломает все, что встречает на своем пути, и удивительные образцы которой я видела ранее вокруг себя... Слушая и наблюдая Л. А. оценивая ее, как человека, невольно можно было спросить, как мирятся ее гуманность и добросердечие с насилием и кровью революционной деятельности? Распространять вокруг себя свет и теплоту, делать людей счастливыми—вот, казалось, поприще для такой любящей натуры. И однако же безобразие и несправедливость политического и экономического строя бросили ее на другой путь. Вопиющая эксплоатация трудящихся масс сделала ее социалисткой. Невозможность свободной общественной деятельности в России и варварское угнетение личности превратили ее в террористку. Любящая, самоотверженная душа нашла в революционном протесте единственную форму, в которую, с спокойной совестью, могла вложить свои альтруистические чувства, чтоб ценою собственной жизни расчистить пути жизни для следующих поколений...

Как ни была я счастлива общением с Л. А., осенью того же 1886 года мы были вынуждены отказаться от прогулок вдвоем, хотя они одни только и скрашивали нашу жизнь. Это случилось так: по тюремной инструкции прогулка вдвоем и пользование огородом были льготой, даваемой за «хорошее поведение». Понятно, быть *взысканным*, не в пример прочим, «*за поведение*» никому не могло быть

приятным, а оценка поведения производилась смотрителем, или, вернее, он просто давал льготы, кому хотел, проявляя обыкновенно вопиющую несправедливость. Были товарищи, повседневное поведение которых не выходило из рамок, в которых держались все, и, однако, никакими льготами они не пользовались. Они немножко стучали с соседями, но это был общий грех.

В тюрьме люди не могут обойтись без сношений между собой: совсем не стучат только одни душевно-больные. Но если одним нарушителям тюремных правил можно было дать прогулку вдвоем и огород, казалось бы, следовало дать их всем. Но этого не было, и некоторые товарищи, как Кобылянский, Златопольский умерли, не видав дружеского лица. Другим, как Панкратову, Мартынову, Лаговскому пришлось ждать этой льготы целые годы.

Какими средствами, не имеющими ничего общего с «хорошим поведением», иногда можно было добиться свиданья с товарищем, можно видеть из следующего примера, случившегося с М. Р. Поповым.

Однажды наша тюрьма огласилась криком «Караул!!!» Все насторожились, недоумевая, в чем дело?

Мгновенно форточка в двери Попова открылась, и в ней появилось лицо смотрителя Соколова.

— Что нужно?—грубо спросил он.

— Не могу дольше так жить!..—отвечает Попов. Дайте свиданье!..

Смотритель помолчал и, смотря в упор ему в лицо, сказал: «Доложу начальнику управления».

Через несколько минут является Покрощинский (комендант).

— Что нужно заключенному?—спрашивает он.

— Не могу дольше жить так...—повторяет Попов.— Дайте прогулку вдвоем!..

Покрощинский: «Заключенный кричал караул! И требует льготы... Пусть заключенный подумает: если мы теперь же исполним его желание,—какой пример это подаст другим?!.. Но, если заключенный немного подождет,—мы удовлетворим его. Если же он вздумает кричать опять, мы

уведем его в другое помещение».. (т.-е. в старую тюрьму или карцер).

Михаил Родионович нашел более выгодным подождать, и через несколько дней его свели на гулянье с Шебалиным.

Но не всякий был так изобретателен, как Михаил Родионович, и большинство молчало. Иногда раздача льгот была прямо-таки орудием непонятной злобы и мести в руках смотрителя. Если на его «ты» ему отвечали той же монетой, то заключенный терял все шансы на то, чтоб увидеться с кем-нибудь из своих, хотя бы дни его жизни были сочтены. Савелий Златопольский никаких столкновений со смотрителем не имел, но стучал с соседями, хотя весьма мало. У него открылось сильное кровотечение горлом... Силы его падали день ото дня, но смотритель с холодной жестокостью оставлял его в одиночестве. То же было с Кобылянским, который говорил смотрителю «ты»... Отсутствие льгот у Панкратова тоже было актом мести.

Тяжело было, возвращаясь с гулянья, думать о соседе, лишенном последней радости—видеться с товарищем. Тяжело гулять вдвоем, когда тут же вблизи уныло бродит товарищ, тоже жаждущий встречи и столь же нуждающийся в обществе, в сочувствии, в друге.

Но мне никогда не приходила в голову мысль о каком-нибудь выходе из этого положения. Я считала тюремные правила такой же несокрушимой твердыней, как каменные стены, железные двери и решетки. Мне казалось невозможным сломить гнетущий нас тюремный режим, как невозможно разрушить стены и замки.

Но Л. А. была другого мнения; она думала, что против тюремных порядков надо в той или иной форме протестовать. Распределение льгот смотрителем—произвольно и несправедливо, а *потому* не может быть терпимо. Л. А. предлагала в этом случае протест пассивный, а именно добровольный отказ от льгот со стороны тех, кто ими пользуется в данное время. Отказ, конечно, должен быть мотивированным: в нем следовало указать на более или менее одинаковое поведение всех заключенных и на чувство товарищества

и симпатии, не дозволяющее нам спокойно пользоваться тем, чего лишены другие.

Я долго не могла решиться на такую жертву. Конечно, мне было тяжело при мысли, что я пользуюсь благом, от отсутствия которого рядом задыхается товарищ... Но я чувствовала себя «на дне» жизни, и свидания с Л. А. были моей единственной радостью!.. Если бы я еще могла верить, что жертва будет плодотворна и что добровольным отказом нам удастся вырвать из рук смотрителя орудие угнетения товарищей! Но мне казалось невероятным, чтоб нам уступили в таком серьезном пункте, а если так, то не будет ли это простым самоистязанием и притом навсегда, потому что, отказавшись однажды, отступить было уже невозможно. К тому же некоторые из пользовавшихся «льготой» гуляли с товарищами настолько уже больными, что им безусловно была необходима дружеская помощь.

Видя, как меня пугает разлука, Л. А. на время замолкала. Но вопрос, беспокоивший нас, снова и снова выплывал в наших беседах. Л. А. постоянно указывала мне на новые стороны вопроса: она говорила, что нужно иметь в виду не одни только непосредственные результаты протеста; что помимо прямой цели—добиться того, чтобы прогулка вдвоем и пользование огородом стали общим достоянием тюрьмы, нормой, а не льготой,—протест сам по себе имеет значение. Среди всеобщего молчания и подчинения администрация увидит, что мы не относимся пассивно к тому, что совершается вокруг нас, что мы думаем не только о себе, как того постоянно требует начальство, но также сочувствуем товарищам и поднимаем голос в защиту их. «Говорите только о себе»—было всегдашним замечанием при употреблении кем-либо слова «мы». А тут, во имя товарищества, люди отказываются от того, что в глазах начальства составляет награду. Ничто не дорого так начальству, как беспрекословное, пассивное восприятие всего, что от него исходит.

И вот люди, лишенные не только всех юридических, но и просто элементарных человеческих прав, и относительно которых приняты все меры к полному подавлению

их личности,—эти люди ставят себя, хотя бы на минуту, выше своих тюремщиков и палачей: они критикуют и осуждают распоряжения тюремной администрации и указывают на необходимость перемен в режиме, установленном для того, чтоб держать в железных тисках этих самых критиков.

Мало-по-малу Л. А. убедила меня в справедливости своих доводов, и вместе с некоторыми другими товарищами мы отказались от пользования льготами до тех пор, пока они не будут распространены на всю тюрьму. Первоначально довольно многие согласились действовать с нами за одно, но потом, как это часто случается в тюрьме, все спуталось и замешалось, и, вместо более или менее общего протеста, только Л. А., я, Ю. Богданович, Попов и Шебалин довели дело до конца. В течение полутора года мы не пользовались ни огородами, ни прогулками вдвоем.

ГЛАВА V.

Карцер (1887 г.).

Первые годы, как большинство новичков, очутившихся в необычайной, зловещей обстановке, я находилась в подавленном состоянии, когда, казалось, единственный выход—молчать, покоряясь участи человека, связанного по рукам и ногам. Но в этом настроении было не одно сознание невозможности и бесполезности всякого сопротивления и борьбы—было и другое. Тот, кто, подобно мне, был когда-либо под обаянием образа Христа, во имя идеи претерпевшего оскорбления, страдания и смерть; кто в детстве и юности считал его идеалом, а его жизнь образцом самоотверженной любви — поймет настроение только-что осужденного революционера, брошенного в живую могилу за дело народного освобождения. После суда душой осужденного овладевало особенное чувство. Спокойный и просветленный, он не цепляется судорожно за то, что покидает, но твердо смотрит вперед с полным сознанием, что наступающее—неизбежно и неотвратимо.

Идеи христианства, которые с колыбели, сознательно и бессознательно, прививаются всем нам и истории всех идейных подвижников внушают такому осужденному отрадное сознание, что наступил момент, когда делается проба человеку, испытывается сила его любви и твердости его духа, как борца за те идеальные блага, завоевать которые он стремится не для своей преходящей личности, а для народа, для общества, для будущих поколений.

Понятно, что при таком настроении никакой словесный или физический бой с шайкой сбирров и заплечных дел мастеров немыслим. Ведь Иисус не сопротивлялся, когда его поносили и заушали. Всякая мысль об этом является профанацией его чистой личности и кроткого величия.

Однако, не смотря на такое настроение непротивления, через полгода после разлуки с моим другом—Людмилой, у меня произошло столкновение с тюремным режимом, которое могло кончиться трагически.

Незадолго перед Троицей, когда было уже 9 часов вечера и смотритель делал обычный обход терьмы, заглядывая в «глазок» каждой двери, Попов громким стуком из далекой камеры внизу позвал меня.

Я устала: томителен и долог ничем незаполненный тюремный день. Хотелось броситься на койку и заснуть; но не хватило духа отказать—и я ответила.

Однако, как только Попов стал выбивать удары, на полуслове речь оборвалась. Я услышала, как хлопнула дверь, раздались многочисленные шаги по направлению к выходу, и все смолкло.

Я поняла—смотритель увел Попова в карцер.

Карцер был местом, о котором смотритель, угрожающе, говорил: «*Я уведу тебя туда, где ни одна душа тебя не услышит*».

Ни одна душа—это страшно.

Здесь под кровлею тюрьмы мы, узники, все вместе: в отдельных каменных ячейках,—все же кругом свои, и это—охрана и защита.

Если крик—крик услышат.

Если стон—стон услышат.

А «там»?.. Там *ни одна человеческая душа не услышит.*

Я знала, что не так давно Попов был *там*, и его жестоко избили. Мысль, что он опять будет в этом страшном месте, будет один, и целая свора жандармов вновь бросится на него, безоружного человека, эта мысль, явившаяся мгновенно, казалась мне такой ужасной, что я решила: пойду туда же; пусть знает, что он не один и есть свидетель, если будут истязать его.

Я постучала и просила позвать смотрителя.

«Что нужно?»—сердито спросил он, открыв форточку двери.

— «Несправедливо наказывать одного, когда разговаривали двое»,—сказала я. «Ведите в карцер и меня».

«Хорошо»,—не задумываясь ответил смотритель и отпер дверь.

Тут-то впервые я и увидела внутренность нашей тюрьмы при вечернем освещении: маленькие лампочки по стенам нашего склепа... сорок тяжелых черных дверей, стоящих как гробы, поставленные стоймя, и за каждой дверью—товарищ, узник, каждый страдающий по своему; умирающий, больной или ожидающий своей очереди.

Как только по своему мостику «вздохов» я пошла к лестнице—раздался голос соседа: «Веру уводят в карцер!» и десятки рук стали неистово бить в двери с криком: «Ведите и нас».

Среди мрачной обстановки, глубоко взволновавшей меня, эти знакомые и незнакомые голоса невидимых людей, голоса товарищей, которых я не слыхала уж много лет, вызвали во мне какую-то больную, яростную радость: мы разъединены—но солидарны; разъединены—но душой—едины.

А смотритель пришел в бешенство.

Выйдя на двор в сопровождении 3—4 жандармов, он поднял кулак, который судорожно сжимал связку тюремных ключей. С искаженным лицом и трясущейся от злобы бородой он прошипел: «*Пикни только у меня там—я тебе покажу!*»

Этот человек внушал мне страх: я знала об истяза-

ниях, которые по его приказу совершали жандармы, и в голове пронеслась мысль: «если меня будут бить—я умру...» Но голосом, который казался чужим по своему спокойствию, я произнесла: «Я иду не для того, чтобы стучать».

Распахнулись широким зевом тесовые ворота цитадели, и страх сменился восхищеньем. Пять лет я не видала ночного неба, не видала звезд. Теперь это небо было надо мной и звезды сияли мне.

Белели высокие стены старой цитадели, и, как в глубокий колодезь, в их четырехугольник вливался серебристый свет майской ночи.

Зарос весь плац травой; густая, она мягко хлестала по ноге и ложилась свежая, прохладная... и манила росистым лугом *свободного* поля.

От стены к стене тянулось низкое белое здание, а в углу высоко темнело одинокое дерево: сто лет этот красавец рос здесь один, без товарищей, и в своем одиночестве невозбранно раскинул роскошную крону.

Белое здание было ничто иное, как старая историческая тюрьма, расчитанная всего на 10 узников. По позднейшим рассказам в самой толще ограды, в стенах цитадели, был ряд камер, где будто бы еще стояла кой-какая мебель, но потолки и стены обвалились, все было в разрушении. И в самом деле, снаружи были заметны следы окон, заложенных камнем, а в левой части, за тюрьмой, еще сохранилась камера, в которой жил и умер Иоанн Антонович, убитый при попытке Мировича освободить его.

В стенахх ли цитадели, или в белом одноэтажном здании, так невинно выглядевшем под сенью рябины, жила и первая жена Петра I-го, красавица Лопухина, увлекшаяся любовью офицера, сторожившего ее, и верховник Головин, глава крамольников, покушавшихся ограничить самодержавие Анны Иоанновны. Там же целые 37 лет томился основатель «Патриотического товарищества»—польский патриот Лукасинский, и умер в 1868 году, забытый в своем заточении. Там же был в заточении и Бакунин.

Ключи звякнули, и в крошечной темной передней с трудом, точно замок заржавел, отперли тюремную дверь.

Из нежилого холодного и сырого здания так и пахнуло затхлым воздухом. Кругом—голый камень широкого коридора с крошечным ночником, мерцающим в дальнем конце его. В холодном сумраке смутные фигуры жандармов; неясные очертания дверей, темные углы—все казалось таким зловещим, что я подумала: «настоящий застенок... и правду говорит смотритель, что у него есть место, где *ни одна душа не услышит*».

В минуту отперли дверь налево, сунули зажженную лампочку; хлопнула дверь, и я осталась одна.

В небольшой камере, нетопленной, никогда не мытой и нечищенной—грязно выглядевшие стены, некрашеный, от времени местами выбитый, асфальтовый пол, неподвижный деревянный столик с сиденьем и железная койка, на которой ни матраца, ни каких либо постельных принадлежностей...

Водворилась тишина.

Напрасно я ждала, что жандармы вернутся и принесут тюфяк и что-нибудь покрыться: я была в холщевой рубашке, в такой же юбке и арестантском халате, и начинала дрожать от холода. Как спать на железном переплете койки? думала я. Но так и не дождалась постельных принадлежностей. Пришлось лечь на это Рахметовское ложе. Однако, невозможно было не только заснуть, но и долго лежать на металлических полосах этой койки: холод веял с пола, им дышали каменные стены и острыми струйками он бежал по телу от соприкосновения с железом.

На другой день даже и это отняли: койку подняли и заперли на замок, чтобы больше не опускать. Оставалось—ночью лежать на асфальтовом полу, в пыли. Невозможно было положить голову на холодный пол, не говоря уже о его грязи; чтобы спасти голову, надо было пожертвовать ногами: я сняла грубые башмаки, которые были на мне, и они служили изголовьем. Пищей был черный хлеб, старый, черствый; когда я разламывала его—все поры оказывались покрытыми голубой плесенью. Есть можно было только корочку. Соли не давали. О полотенце, мыле—нечего и говорить.

Идя в карцер, я рассчитывала на безмолвное пребы-

вание в нем: я шла лишь для того, чтобы Попову одному не было страшно.

Но Попов и не думал молчать — он хотел разговаривать. На другое же утро он стал звать меня, и я имела слабость ответить. Между тем, как только он делал попытку стучать, жандармы, чтобы не допустить этого, хватали полено и принимались неистово бомбардировать мою дверь и дверь Попова —поднимался невероятный шум.

Тот, кто не провел многих лет в безмолвии тюрьмы, у кого ухо не отвыкло от звуков, не может представить себе, какое страдание шум доставляет уху, изнеженному тишиной.

Бессильная остановить бешеный стук, я приходила в ярость и сама начинала бить кулаками в дверь, за которой неистовствовал жандарм.

Эти сцены были невыносимы.

И все-таки снова и снова Попов делал свои попытки и вызывал мучительные драки с жандармами через дверь.

Терпение жандармов, наконец, лопнуло.

Однажды адский шум резко оборвался. Тяжелые шаги смотрителя раздались в коридоре и среди жуткой тишины началось шопотом зловещее совещание, какие-то приготовления. Сейчас, думала я, откроется дверь Попова и начнется избиение. Неужели я буду пассивным свидетелем этой дикой расправы? Нет,—я не вынесу.

Я стала звать смотрителя.

«Вы хотите бить Попова»,—сказала я ему надтреснутым голосом, как только он отпер дверную фортку. «Не бейте его! Вы раз уж били его—может и на вас найтись управа!»

— И не думали бить, совершенно неожиданно стал оправдываться смотритель: мы вязали его, а он сопротивлялся—вот и все.

«Нет, вы били»,—возразила я уже с силой, чувствуя под ногами почву. «Били. Есть и свидетели.»

«5-ый стучать больше не будет»,—продолжала я. «Я скажу—и он перестанет.»

— Ладно, — буркнул смотритель.

Я позвала Попова и сказала, что больше не в силах переносить такую войну и прошу прекратить стук.

Водворилось молчанье..

На другой день мне принесли чай и постель. Их не дали Попову—и я выплеснула чай под ноги смотрителя и отказалась от пользования постелью. Но я разломила кусок хлеба и, указывая на плесень, сказала смотрителю: «вы держите нас на хлебе и воде, так посмотрите же, каким хлебом вы нас кормите».

Смотритель покраснел. «Перемените», — приказал он жандармам, и через 5 минут мне принесли ломоть мягкого свежего хлеба.

Еще три ночи я лежала на асфальте в унизительной пыли, в холоде, с казенными котами вместо подушки. Лежала и думала. Думала: *как вести себя дальше*?

Очевидно, в будущем предстояло еще много столкновений по разным поводам. В каких же случаях *должно*, при каких условиях *можно* и стоит входить в конфликт с тюремной администрацией? Какими средствами бороться с ней? как протестовать?

Всегда ли надо защищать товарища? Первый порыв говорит «всегда». Но всегда ли прав товарищ?

Я прошла через опыт: он был тяжел. Я пересмотрела все, что произошло в истекшие дни; пересмотрела свое поведение и поведение Попова, и спрашивала себя: «*хочу ли я* и в силах ли бороться теми средствами, к каким прибегает Попов?»

Вот его натура: железные нервы, большое самообладание и громадная сила сопротивляемости, закаленная в школе Карийских рудников и Алексеевского равелина; хладнокровный, упрямый стальной боец. Его выругают—он отплатит тем же. Грубость тюремщиков, шумные схватки с жандармами—ему ни почем. Его связывали; его били; били не раз. Били жестоко, и он *перенес* и оставил без возмездия; перенес и мог жить после этого. А я?.. я не могла бы.

Ясно—что нам не по дороге. На *такую* борьбу, какую он ведет, моих физических сил, моих нервов не хватает,

а с точки зрения моральной— я *не хочу* протестов, недоводимых до конца.

Надо было теперь же определить линию будущего поведения, выбрать твердую позицию, взвесить все условия, внутренние и внешние и раз навсегда решить, как вести себя, чтобы дальше уже не колебаться.

Мелкие ежедневные стычки, грубые сцены, кончающиеся унижением—были не по мне, не по моему характеру. И я решила отказаться от подобных способов борьбы. Я познала меру своих сил и определила, *что* я *могу* и что *хочу* делать: я решила—терпеть в том, что стерпеть можно, но когда представится случай, за который стоит умереть, я буду протестовать и протестовать на смерть [1].

...Был 5-й *день* карцера, когда смотритель сказал мне: «5-му дана постель и прочее».

Измученная и ослабевшая, как после изнурительной болезни, я могла, наконец, лечь в постель. Была пора: в ушах стоял непрерывный звон и шум; в голове было смутно, точно не спишь, и не бодрствуешь.

В сумерки, когда я лежала в полулетаргической грезе, внезапно я услыхала пение. Пел приятный, несильный баритон со странным тембром, в котором было напоминающее кого-то или что-то: человека? обстоятельства?

Песнь была простая, народная; мотив—не сложный, однообразный.

Кто поет? Кто может петь в этом месте?—раздумывала я. Не пустили ли рабочего для какого-нибудь ремонта? Но это невозможно. И откуда несутся эти звуки? Они идут как будто извне: не поправляют ли крышу на здании?

Загадка—кто пел? долго стояла предо мной и после того, как я вышла из карцера. Певец уже ушел из жизни, своею волей прервав ее, когда из глубины сознания вдруг выплыло имя: Грачевский. Голос певца был его голос; тембр голоса—его тембр. Оказалось, он действительно был в старой тюрьме в то время, когда я была в ней.

---

[1]) Но прошло целых 15 лет, прежде чем жизнь представила такой случай.

...Прошло 2 дня. «На прогулку»!—сказал смотритель, отперев дверь. Это значило—конец карцерному положению.

— «Я не пойду, если уводите только меня», сказала я, забиваясь в угол, и уже со страхом прибавила: «ведь не потащите же меня силой?»

Смотритель смерил с головы до ног хрупкую фигуру в углу, передернул плечом и с видом пренебрежения сказал: «*И чего тут тащить*»!

«5-й уж вышел»,—прибавил он.

Вышла и я.

После прогулки, вернувшись в свою камеру, я смочила водой аспидную доску и посмотрелась, как в зеркало: я увидела лицо, которое за 7 дней постарело лет на 10: сотни тонких морщинок бороздили его во всех направлениях. Эти морщинки скоро прошли; но не прошли переживания только-что оконченных дней

ГЛАВА VI

Бумага (1887 г.).

Прошло 5 лет с тех пор, как я была арестована, и кончились три первые, самые тяжелые, годы заключения в Шлиссельбурге, когда нам в первый раз дали бумагу.

Это было событие.

Но за первым порывом праздничного настроения возникало сомненье: как пользоваться этой бумагой? Что писать на ней? Смотритель, давая *пронумерованную* тетрадь, говорил: «Когда кончится—надо сдать, дадут другую». Это значило—написанное будет читать тюремная администрация, а потом департамент полиции. И вместо праздника наступали будни.

В нашей скудной библиотеке совсем не было беллетристики ни в прозе, ни в стихах. И помню первое, что я вписала в свою тетрадь, был отрывок из поэмы Некрасова: «Кому на Руси жить хорошо»:

Средь мира дольного
Для сердца вольного
Есть два пути:
Взвесь силу гордую
Взвесь волю твердую
Каким итти? и т. д.

А затем шли другие стихотворения, сохранившиеся в памяти.

Но вскоре открылся источник нового материала.

Через несколько дружеских инстанций, Лопатин, посредством стука, передал мне свое стихотворение:

Да будет проклят день, когда
Впервой узрел я эти своды
И распростился навсегда
С последним призраком свободы.

Да будет проклят день, когда
На муку мать меня родила,
В безумной радости тогда
Меня сейчас же не убила.

Теми же проклятиями начинались и остальные пять или шесть строф.

Мое собственное настроение и, как оказалось, настроение большинства товарищей, было так далеко от этих неистовых укоров, что я была крайне изумлена.

На свободе я никогда не писала стихов, а тут вздумала, через те же дружеские инстанции, ответить в стихотворной форме, и написала:

Нам выпало счастье: все лучшие силы
В борьбе за свободу всецело отдать.
Теперь же готовы мы вплоть до могилы
За дело народа терпеть и страдать.

Терпеть без укоров, страдать без проклятий.
Спокойно и скромно в тиши угасать,
Но тихим страданьем своим—юных братий
На бой за свободу и равенство звать!

Ответ был одобрен всеми товарищами, а Лопатин передал, что тронут до слез.

После такого успеха во мне зародилось желанье выразить в рифмованной речи чувства, которые приходилось постоянно подавлять.

Я написала стихотворения: «К матери», «К сестре», «Старый дом» и др. [1]).

Товарищи последовали этому примеру, и в нашей жизни открылась целая полоса поэтического творчества: стихи посыпались со всех сторон. Объявилось 16 поэтов и каждый на свой лад забряцал на лире—Шлиссельбург превратился в Парнас; в тюрьме пошла такая трескотня в стену, что Морозов, сидевший в одной из камер внизу, не знал, куда деваться: спиритические духи, говорил он, завладели всем зданием. Увлеклись самые трезвые: реалисты Попов и Фроленко—и те написали по одному стихотворению. Воздержались лишь немногие, как Лукашевич, Янович, Ашенбреннер и некоторые другие. Писали разное: акростихи и сонеты, оды и поэмы. Панкратов изображал в стихах жизнь Ростовских золоторотцев; Лаговский воспевал революционное знамя и другие возвышенные предметы. Писали в героическом тоне, писали в тоне элегическом, кто во что горазд. Главной темой были воспоминания; они наиболее отвечали лирическому настроению, так свойственному первым годам заключения. О качестве стихотворений я говорить не буду; несомненно одно—писание стихов облегчало тогда нашу жизнь, давая исход накопившемуся чувству; с другой стороны, взаимный обмен ими вносил некоторое разнообразие в одиночество и это давало известное удовлетворение, а иногда приносило большую радость; в памятные дни рождения или именин получишь, бывало, трогательное послание в роде того, которое Лопатин прислал мне 17-го сентября:

Пусть ты под свод могилы адской
Погребена,
Но ты и здесь любвью нашей братской
Окружена.
Пускай родных, друзей и света
Ты лишена,
Но ты и здесь не без привета
И не одна!

Но если бумага дала возможность излить свои чувства и смягчить грусть, то на первых же порах она оказала нам услугу совсем другого рода.

---

[1]) См. приложения.

В течение первых трех лет, из недели в неделю, по субботам—нас подвергали личному обыску. Ничего не было спрятано; нечего было спрятать, и все же, все же, все три года, каждую субботу, нас подвергали этому унижению.

Мужчин гнусным образом обыскивали жандармы, а меня водили в пустую камеру, в которой ждала, специально позванная для того, женщина. Одну за другой она снимала с меня части одежды и через полуотворенную дверь передавала в корридор жандармам.

Сначала это была та пожилая особа, похожая на экономку из «хорошего дома», о которой я упоминала в первой главе этой книги. Положив руку на оголенные плечи, она проводила ими сверху донизу по всему телу, не щадя ушей и пальцев.

Однажды вместо нее в камере оказалась молодая женщина, судя по внешности, стоявшая на более высокой социальной ступени: на ней было черное, сшитое по моде, шерстяное платье, а на груди—золотая цепочка. Когда смотритель вел меня к ней, он коснулся уха и губ и сказал: «Она глуха и нема», давая этим понять то, что и без слов было понятно. Эта женщина явно конфузилась своей роли—она краснела, и кроме этого раза я ее уж не видала.

Ее заменила какая-то чухонка, должно быть кухарка, белобрысая, неотесанная баба. Своими подлыми пальцами она перебирала мои волосы на голове и перебрасывала ее из руки в руку, как будто это был большой деревянный шар.

Я выходила в слезах [1].

И вот в то время, как поэты упражнялись в анапестах и ямбах, рабочий Мартынов занимался прозой: он писал дневник и, заполнив тетрадь, сдал смотрителю, а тот отправил в департамент полиции... В дневнике Мартынов описал и субботние обыски. Должно быть, описание вышло красочное: по этому ли или по тому, что время для того

---

[1]) Справедливость требует сказать, что смотритель, увидав однажды, что я плачу, спросил: „Что такое?“ Это женщина очень груба, отвечала я. „Я скажу“, коротко сказал Соколов, и с той поры женщина уже не так дергала меня.

исполнилось, обыски внезапно прекратились. Но мы-то это прекращение приписывали дневнику

О том значении, какое имела бумага во 2-ое десятилетие нашего заключения, будет сказано в одной из следующих глав.

ГЛАВА VII.

М. Ф. Грачевский [1]).

Осенью того же 1887 года погиб жестокой смертью мой товарищ по Исполнительному Комитету партии Народной Воли—М. Ф. Грачевский. Его жизнь—целая эпопея. Двадцать лет назад, 18-ти илетним юношей, он оставил семинарию и сделался народным учителем, «горя желаньем приносить пользу крестьянам»; после 4 лет работы в школе стал железнодорожным слесарем и вел культурно-просветительную деятельность среди товарищей по труду; потом перебрался в Петербург, где сблизился с кружком Чайковцев и по их предложению отправился в Москву для социалистической пропаганды среди рабочих. На первых же шагах этой деятельности он был предан, арестован и целых 3½ года пробыл в тюрьме в ожидании суда. В 1878 г. этот суд, наконец, наступил, и по делу 193-х особым присутствием Сената Грачевский был приговорен *к 3 месяцам ареста* (!) с зачетом предварительного заключения. Дело, однако, этим не ограничилось: в августе того же года, без всякого повода, Грачевский был арестован в Одессе и по распоряжению III-го отделения в административном порядке выслан в Холмогоры Архангельской губ. Деятельный и энергичный, он не хотел прозябать в ссылке, и бежал, но сбился с пути среди северных болот и леса, был пойман и должен был с жандармами вернуться обратно в Архангельск.

---

[1]) Подробности см. в биографии Грачевского, помещенной в моей книге „Шлиссельбургские узники", изд. „Задруга" 1920 г.

Однако, не доезжая до города, пойманный беглец соскочиил с тележки, на которой его везли, и скрылся в чаще леса, откуда с небольшими приключениями добрался до товарищей-ссыльных; они укрыли его, а затем он уехал в Петербург.

В то время уже образовалась партия Народной Воли, и Грачевский, так много испытавший и уже вполне определившийся, примкнул к ней. После ареста в 1880-м году первой типографии Народной Воли, в Саперном переулке, Грачевскому было поручено организовать вторую и вместе с П. С. Ивановской стать во главе ее.

Принятый в члены Исполнительного Комитета, Грачевский принимал то или иное участие в политических актах борьбы Комитета против самодержавия и после 1-го марта 1881 года, развернув всю свою энергию, являлся одним из самых деятельных ответственных членов партии.

В 1882 г., когда не стало так многих членов Комитета, Грачевский организовал в Петербурге динамитную мастерскую для приготовления бомб, являясь в ней и руководителем, и работником. Живя по чужому паспорту, он считал себя в то время в полной безопасности и не подозревал, что тайная полиция давно следит за каждым его шагом и по нему прослеживает всех, с кем он находится в сношениях.

В июле последовал единовременный арест как самого Грачевского, так и всех причастных к делу. Грачевский считал себя фактическим виновником гибели своих товарищей, и это послужило для него источником глубочайших страданий. Под суровой внешностью фанатика, революционера и террориста Грачевский скрывал горячее сердце, которому он только не давал воли: простора для этого сердца не было и в самых условиях деятельности. Но теперь, когда эта деятельность кончалась, его любовь к товарищам прорывалась неудержимо, и он испытывал жестойчайшие муки, видя гибель целого ряда молодых людей. Эти чувства определили и все поведение Грачевского на суде: безбоязненно заявлял он о себе все, что могло привести к

виселице, но вместе с тем все усилия прилагал к тому, чтоб выгородить других участников процесса [1]).

В 1883 г., в «последнем слове» на суде «17-ти», он говорил: «Я прошу смыть с моей души хоть часть той нравственной муки, которую я испытывал в течение 10 месяцев моего заключения и пред которою стушевывается всякая физическая казнь, которую только может придумать человеческое воображение. Никто не причастен к делу об устройстве лаборатории: я действительный и единственный виновник оного и потому прошу Особое Присутствие обратить всю тяжесть кары закона на меня одного».

И с тяжестью, великой тяжестью в душе вышел Грачевский из залы суда и понес эту тяжесть в живую могилу,—в Алексеевский равелин и в Шлиссельбург, в которые был последовательно заключен после приговора к смертной казни, замененной каторгой без срока.

Жизнь в Алексеевском равелине была для Грачевского тем же медленным умиранием, как и для других Народовольцев, осужденных в 83 и 82 годах. Никаких подробностей, которые касались бы лично его, в мемуарах Поливанова и в воспоминаниях Фроленко о жизни в равелине—не имеется. Равелин был мертвецкой. Протестов в нем не было. Не слышно было и голоса Грачевского.

Зато все три первые года существования Шлиссельбургской тюрьмы наполнены его негодующей борьбой со смотрителем Соколовым. Все предшествовавшее играло роль в этой борьбе. Человек, менее переживший, не так исстрадавшийся, быть может, смог бы игнорировать или переносить, молча, многое из той обстановки, в которой жили шлиссельбуржцы. Но Грачевский был потрясен до глубочайших основ своих, потрясен физически, истерзан нравственно, и его нервная система была напряжена до последней степени.

Если исключить условия моральные, в которых «осужденный» живет в застенках, подобных равелину и Шлиссельбургу, если исключить и условия материальные (как

[1]) См. воспоминания Прибылева в „Былом“

недостаточная пища, отсутствие моциона, свежего воздуха, физического труда, надлежащей врачебной помощи и т. д.), то самым страшным орудием пытки в тюрьме является *тишина*. Да! тишина господствует в тюрьме... Тюремное начальство требует этой тишины «для порядка».... Она есть наиполнейшее выражение тюремной дисциплины, сковывающей узника. Тюрьма должна быть мертва, мертва, как могила, мертва день и ночь. Единственный неизбежный шум, поражающий слух, это стук отпираемых и запираемых тяжеловесных дверей из дуба, окованного железом, да форточек, сделанных в двери для передачи пищи. Гулко раздается этот грохот, напоминающий, что ты *не один* в этом здании... В остальное время—ни шороха, ни звука...

При небольших расстройствах нервной системы, какие бывают у людей на свободе, тишина есть благодеяние и прекрасное средство привести нервы в равновесие. Но вечная, вечная тишина! Бесконечно длинная, бесконечно мертвая—ужасна. Быть может, нет средства более сильного, чтоб в конец испортить нервы человека. Продолжительный покой изнеживает ухо; с течением времени слух становится все тоньше, все раздражительнее и затем—уже *не может выносить* самых обычных звуков, которые кажутся нестерпимо сильными. У иных является рефлекс, и из груди при каждом звуке вырывается крик и, как это ни странно, чем незначительнее звук,—тем сильнее рефлекс. Случается, что внезапный слабый шорох или стук разрешаются рыданием, а если звуки повторяются периодически, более или менее правильным темпом, они мучают невыносимо: к нервному потрясению привходит *ожидание* звука, и хотя и ждешь его—он все же приходит неожиданно, и чем более ждешь—тем неожиданнее... Ночью эти маленькие звуки не дают спать и настолько раздражают, что человек выходит из себя и готов кричать и бить, чем попало, лишь бы положить конец физическому страданию. К этому надо прибавить, что дрессировка и поощрение начальствующих развивает в страже злобное стремление помучить заключенного: унтера стараются делать, как раз то, что особенно неприятно и тягостно для узника. Горе тому, кто

выкажет, что тот или иной звук мучителен для него! Еще большее горе—выказать нетерпение, гнев. И почти верная гибель—если человек вздумает начать систематическую борьбу на этой почве. Чем последовательнее и упрямее, чем энергичнее и прямолинейнее человек, тем труднее ему в этой борьбе остановиться. Он будет вести ее все дальше и дальше: он будет заявлять, протестовать, браниться и кричать. За все ему воздается, не вдвое, а во сто крат! Провокация пойдет за провокацией. Наконец, отношения так обострятся, накопится столько горечи, обиды и гнева, что узнику останется одно—оскорбить своего врага действием и умереть.

Всю лестницу подобной борьбы прошел Грачевский. Постоянно и по всевозможным поводам он протестовал. Ежедневно, по тому или другому случаю, у него происходили стычки с жандармами и с нашим Малютой Скуратовым—Соколовым.

Камера Грачевского была внизу, а под нижнем этажем находился подвал, где были свалены дрова и каменный уголь: там происходила топка всего здания. И день, и ночь там шла возня: мешали в печи, бросали дрова, чем-то скоблили, терли и пр. Этот шум служил бесконечным источником жалоб Грачевского. По ночам он плохо спал и пил хлорал, а утром часто подолгу оставался в постели. Но лежать неподвижно под одеялом не полагалось: жандармов это беспокоило... Полно, уж жив ли человек? Уж не бежал ли и на койке покоится просто чучело? И вот, в мягких туфлях, они периодически подкрадываются и, приподнимая задвижку над стеклышком, вставленным в дверь, на мгновение приникают глазом, а затем щелкают задвижкой... Они знают, что тонкий слух узника непременно отзовется на этот звук. И действительно, это периодическое пощелкивание около «глазка» было мучительно решительно для всех, а порой приводило людей нервных в бешенство. Так было и с Грачевским. Мало того, за каждую жалобу коменданту смотритель старался донять Грачевского, чем только мог. Так, в марте 1886 г в тюрьме было двое умирающих: Немоловский и Гелис. Громко раздавались их

стоны... Жандармы заметили, что страдания больных привлекают общее внимание, и, зная, что больные должны скоро умереть, предусмотрительно задумали отправить их на покой в старую тюрьму. Но старая тюрьма была предметом ужаса и отвращения для нас. Вся обстановка ее была несравненно угрюмее, суровее и подозрительнее, чем обстановка нового здания... Тут хоть и разобщенные, мы все же были вместе. Умереть не в одном здании с нами... умереть там, в старой тюрьме, казалось нам еще безотраднее, еще страшнее, чем тут, рядом... Больное воображение возмущалось и охотно рисовало самое циничное отношение к умирающему. Как ни были мы покинуты и одиноки, одиночество в старой тюрьме представлялось еще более полным, прямо угрожающим. Никоим образом не хотели мы, чтоб наших больных отнимали у нас и заживо уносили «на погост». А между тем Немоловского увели, Гелиса—унесли... Положили на простыню и, среди стонов и крика, унесли... Грачевский протестовал. Он призвал коменданта Покрошинского и энергично обличал смотрителя. «Они беспокоят всю тюрьму», оправдывался Соколов. Однако протестации подействовали и Гелиса принесли обратно, а Немоловский так и умер в начале апреля в старой тюрьме.

После этого смотритель каждый раз при передачах через форточку Грачевского раз пять хлопал ею, делая вид, что не может затворить сразу. Грачевский не выдержал и стал кричать: «Прошу не стучать форткой более разу! Я раздражаюсь!..»—«Ты раздражаешься??» выразительно спросил смотритель. «Ну, и я тоже раздражаюсь!..» Хлоп! хлоп!..

В этом роде, то из-за гулянья, то из-за перемены товарища по прогулке, то предъявляя требование, чтобы дозволили посещать больных, Грачевский изо дня в день ссорился со смотрителем, в полной власти которого он находился. Он то переставал гулять, то начинал голодать. Так в октябре 1886 года он не принимал пищи в течение 18 дней (по другим воспоминаниям даже 28 дней) и, чтоб скрыть это от остальных, Соколов обманным образом увел его в старую тюрьму.

Там Грачевский написал обширную объяснительную записку, адресованную министру внутренних дел графу Д. А. Толстому. В ней он изложил все крупные обиды и притеснения, все невозможные условия, вынесенные в равелине и в Шлиссельбургской крепости.

Этому документу Грачевский придавал громадное значение и верил, что он будет чреват последствиями, верил, что существующий тюремный режим падет, будут введены улучшения и жизнь в тюрьме станет легче.

Стоит ли говорить, что то была иллюзия... Осталось неизвестным даже, передано ли по назначению заявление Грачевского, а непосредственным результатом было то, что у него тотчас же отобрали письменные принадлежности, книги и даже *лекарства* (бромистый кали и хлорáл).

Время шло, и в голове Грачевского складывался план, в случае безрезультатности его записки, добиться реформ иным путем, не щадя жизни.

В мае 87 года, по поводу увода в карцер (в старую тюрьму) нескольких товарищей (за перестукиванье), Грачевский простучал соседям: «Нет сил терпеть более: просто с ума сойду!.. Завтра же ударю доктора»...

Никакие уговоры не помогли, и 26 мая он ударил доктора Заркевича, этого молодого слабовольного труса, всегда прикрывавшего смотрителя вплоть до избиений, которые производились жандармами по приказу Соколова, и последствия которых он видал воочию [1].

Сообщив товарищам о том, что он сделал, Грачевский сказал, что хочет суда, чтобы описать положение тюрьмы, а если его не казнят, посадят на цепь и будут мучить, то он сожжет себя керосином.

В тот же день его увели в старую тюрьму, откуда живым он уже не вышел...

Месяцы шли, а суда над Грачевским все не было. Отчаявшись во всем, что им было предпринято раньше, и потеряв, наконец, всякую надежду предстать на суд (которому его не предали под предлогом душевной болезни), но

---

[1] При жалобах высшему начальству Заркевич не подтверждал фактов.

желая, во чтобы то ни стало, предать гласности все муки и надругательства, павшие на долю ему и его товарищам, он выполнил ранее составленный замысел, и 24 октября 1887 г. облил себя керосином из большой лампы, освещавшей камеру, и сгорел.

Мрачная драма, достойная суровой эпохи средних веков, совершилась; совершилась в XIX столетии, в 50 верстах от столицы культурного государства... Да! Шлиссельбург был таким уголком великой империи, где горсть политических узников жила в условиях чуть не более тяжких, чем условия жизни Иоанна Антоновича, тень которого еще осеняет мрачный каземат, где он был убит... Там, отрезанный от всего мира, узник не мог поднять голос в свою защиту и быть услышанным.

Погиб Минаков... растрелянный! Он протестовал, желая явиться на суд. Обращаясь к суду, он обращался к родине. Он верил, что родина услышит...

Погиб Мышкин... растрелянный! Он протестовал, чтоб предстать перед судом, и, обращаясь к суду, верил, что голос его будет услышан, что родина его услышит...

Погиб Грачевский—сгоревший! Он протестовал, он требовал суда... Во что бы то ни стало, он хотел быть выслушанным.

Но тщетно... И он делает из себя зловещий факел, пламенеющий в стенах склепа—той старой исторической тюрьмы Шлиссельбурга, в которой он отлучен от нас. Вот обширная комната корридора—настоящий зал для заседаний инквизиции. Ряд темных дверей, запертых семью замками. Они стоят мертвые и неподвижные, замкнутые так, будто им суждено никогда не раскрыться. Угрюмая темнота и сырость. Сумрачные темные фигуры жандармов странно колышутся в пустоте, как тени или зловещие призраки палачей или наемных убийц в каком-нибудь Тоуэре... И тишина.... Тишина... Внезапно происходит смятенье, беспорядок... Все задвигалось, заволновалось... Отчаянно дергают ручку проволоки от звонка, давая сигнал тревоги...

Но все двери неподвижны: они заперты... *Его дверь* [1])

[1]) Камера № 9 старой тюрьмы.

заперта... и *ключа—нет*... А там, за дверью, во весь рост стоит высокая, худая фигура с матовым лицом живого мертвеца. Стоит и темнеет среди языков огня и клубов копоти и дыма. Огонь лижет человека своими красными языками... огонь—сверху донизу, со всех сторон... Горит, дымится факел и этот факел—живое существо, *человек*!.

Поспешными тяжелыми шагами входит Малюта... В широкой руке крепко стиснута связка ключей. Нижняя челюсть опущена и нервно вздрагивает, выдавая волненье... но привычная рука быстро вкладывает заветный ключ в скважину замка. Наконец-то! Дверь отперта... Камера в дыму, в огне. А в середине попрежнему—человек... Дым и огонь... клубы дыма, языки огня... Запах керосина и гари... Сгорели волосы, догорает одежда и падает...

Мрачная драма свершилась. В клубах дыма померкла мысль, в пламени огня погасло сознание.

Несколько стонов... глухих, подавленных стонов... и человек—умер.

Через три дня Шлиссельбургскую тюрьму посетил генерал Петров и вслед за тем смотритель Соколов исчез: он был уволен *за недосмотр*.

Жертва принесена и в тюремной жизни наступает перелом... Бездыханно лежат мертвые, а живые начинают легче дышать

Шлиссельбург остался, но Малюты Скуратова уж нет.

После увольнения Соколова в ноябре 1887 года, в тюрьме на целое полугодие наступило междуцарствие. Нового смотрителя почему-то не назначали. Быть может, было колебание, какого рода лицо должно заместить Соколова, и должность смотрителя временно исполнял жандармский офицер, служивший по хозяйственной части. Че-
проявлял своей власти, а в апреле 1888 г. приехал, наконец,
ловек лет 35, довольно бесцветный, в тюрьме он ничем не
и назначенный смотритель—Федоров, надоедливый, как мы его потом узнали, но не свирепый старик, большой форма-

лист и доносчик. При нем вскоре кончился наш протест в форме отказа от огорода и прогулки вдвоем, и мы с Людмилой Александровной могли вновь соединиться, так как все товарищи получили эту льготу и, войдя в норму, она перестала быть наградой за «хорошее поведение».

ГЛАВА VIII.

Смотритель Соколов.

В качестве главного заправилы в русском застенке 19 столетия, смотритель Соколов был, как нельзя более, на своем месте. Он вышел из низов, выслужившись из унтер-офицеров корпуса жандармов, и, по рассказам, выдвинулся, благодаря тому, что проворно, как железными тисками, схватывал арестованных за горло при попытках проглотить какую-нибудь компрометирующую записку. В качестве бульдога он попал в телохранители Александра II на прогулках, а после 1-го марта был произведен в хранителя тех, кто привел царя к гибели: его сделали смотрителем Алексеевского равелина, в который были заключены члены Народной Воли.

Соколов был человек совершенно необразованный и некультурный, не умевший даже правильно говорить по-русски; он говорил «*эфто*» вместо «это», «*ихний*» вместо «их» и т. п. Когда случилось, что Морозов, желая решить какую-то задачу, нацарапал на стене треугольник, смотритель, ворвавшись в камеру и тыкая пальцем в рисунок геометрической фигуры, угрожающе зашипел: «Эфто что такое?! Прошу без эфтих хитростев!»

Среднего роста, очень крепкий для своих 50—55 лет, широкоплечий и коренастый, он имел тупое, суровое лицо, обрамленное темной бородой с проседью, серые глаза с упрямым выражением и подбородок, который при волнении судорожно дрожал.

К исполнению своих обязанностей он относился с такой ревностью, что никаким жандармам не доверял наблю-

дения над узниками. Удивительно, что он спал не в тюрьме, а у себя дома—у него была жена и дети. Не будь он мужем и отцом, вероятно, он был бы день и ночь неразлучен с нами. Широкая мускулистая рука его ни на минуту не выпускала связки ключей от камер: ежедневно собственноручно он отпирал и запирал как их, так и дверные фортки при раздаче пищи, зорко следя за каждым жестом своих подчиненных.

Когда нас выводили на прогулку, он сопровождал каждого, выступая вслед за жандармами, а когда все «клетки» были заполнены, взбирался на вышку и выстаивал вместе с унтерами целые часы под-ряд во всякую погоду, в снег и дождь, наблюдая, все ли в должном порядке.

Его жандармы были вышколены до последней степени. Принимая на службу, Соколов подвергал их искусу и производил отбор, прогоняя без пощады тех, кто оказывался не на высоте положения. Жандармы боялись его, как огня, и понимали каждый немой жест своего повелителя. Никто и ничто не могло заставить их нарушить вынужденную немоту, но слушали и слышали они изумительно хорошо, в чем им способствовало замечательное в акустическом отношении тюремное здание. В длинном корридоре с 20 камерами наверху и таким же числом в нижнем этаже, отделенном от верхнего лишь сеткой, крадущийся в мягких туфлях жандарм с одного конца слышал самое легкое постукивание в стену на другом. Также тихо подкрадывался и смотритель, когда в мгновение ока надо было врасплох напасть на нарушителя дисциплины, увлекшегося беседой через стену с соседом. Большинство унтеров перешло в Шлиссельбург из Алексеевского равелина вместе со смотрителем и узниками, находившимися там. Они были, таким образом, люди опытные, видевшие всякие виды, прошедшие суровую, мрачную школу. Вначале жандармы, несомненно, наших фамилий не знали. Эти фамилии должны были оставаться тайной решительно для всех, не исключая и начальствующих. Как было сказано раньше, потеряв все права, мы потеряли и право носить свои фамилии, и стали просто номерами. И сила дисциплины была

так велика, что в течение всего двадцатилетия ни один человек из тюремной администрации и из низшего персонала ни разу не назвал меня иначе, как № 11-й. Так было, несмотря на то, что со времени совместных прогулок наши номера были расшифрованы громкими голосами разговаривавших: ведь нельзя же было запретить всем нам называть друг друга по имени.

Сделавшись номерами, мы становились казенным имуществом: его надо было хранить, и это соблюдалось: одних *хоронили*, других *хранили*. В коридоре стоял большой шкаф, в котором лежали револьверы, заряженные на случай похищения этого казенного имущества—попытки извне освободить узников.

Мелочный и мстительный характер Соколова вполне обнаруживался в его отношениях к тем, кто, как Кобылянский, говорил ему «ты», в ответ на употребление им этого местоимения; а как он мучил и довел до самоубийства Грачевского—рассказано на страницах, посвященных этому товарищу.

Его злость я испытала, когда попала в карцер, а грубость—когда жандармы перехватили в книге мое письмо к Юрию Богдановичу. С товарищами—мужчинами Соколов обращался отвратительно, подвергая за прекословия и неповиновение зверским избиениям, конечно, не собственноручно, а наемными руками своих подчиненных. Душевнобольной Щедрин, Василий Иванов, Манчуров и, неоднократно, Попов испробовали достаточно силу жандармских кулаков. А после избиения Соколов подходил к связанному Попову и заводил беседу, увещевая вести себя смирно. «Я говорю, желая тебе добра; говорю, как отец родной...» распинался мучитель. Его бессердечие сказывалось, когда, замурованные в свои кельи, беспомощно умирали мои товарищи. Короткое официальное посещение врача по утру и общий обход смотрителя в обычные часы вечером—вот в чем состояло все внимание к умирающему. Больницы или возможности посетить больного товарищам—не было. А после агонии следовал воровской унос покойника из тюремного здания, тайком, так, чтобы мы не заметили. В

камеру, из которой вынесен умерший, жандармы продолжали входить, делая вид, что вносят пищу, и с шумом хлопали дверью, чтоб показать, что никто из нас не выбыл. Когда наш первый тюремный врач, трусливый Заркевич, назначал страдающему цынгой или туберкулезом стакан молока, Соколов, помимо врача, определял срок пользования этим молоком и по возможности сокращал его: «Молоко получается?» спрашивал Заркевич, избегая обязательного обращения на «ты».—Нет, отвечал пациент. «Но я же не отменял его», тихо произносил врач, бросая взгляд на смотрителя. Тот стоял, не моргнув глазом, и дело тем и кончалось. То было продолжение системы, практиковавшейся в Алексеевском равелине, в котором Народовольцы умирали от истощения, и доктор Вильмс в оправдание свое говорил: «Я бессилен: все зависит от администрации». А последняя, повинуясь внушениям свыше, должна была уморить тех, кто был отдан в ее ведение. Удивительно, что Соколов, этот человек с железной рукой и железным сердцем, случалось, входил в сделки и уступал домогательствам Попова, который непрерывно вел с ним грубую, хотя и мелочную, борьбу. Так, посадив однажды Попова в карцер на хлеб и воду за стук, и поговорив с ним потом, «как отец родной», он заключил с ним перемирие и условился, что Попов будет стучать, но немного и негромко. Впрочем, не прошло и двух недель, как договор был нарушен Соколовым, и за тот же стук в карцер были последовательно уведены: Лаговский, Попов и Волкенштейн, а к ним присоединился Манучаров, обидевшийся на меня, и в виде возмездия запевший на всю тюрьму какую-то неистовую арию. В старой тюрьме (но не карцерном положении), не щадя ни своих кулаков, ни своих ушей, они провели пять месяцев в постоянных стычках с жандармами, с яростью колотившими в их двери [1]).

Находясь почти весь день в тюрьме, Соколов неоднократно посещал ее и ночью. В 9 часов вечера мы слышали лязг решетчатых железных ворот, заграждавших вход в

---

[1]) Во время их пребывания и произошло самосожжение Грачевского.

коридор, а затем тяжелые мерные шаги смотрителя, переходящего от одной двери к другой и заглядывающего в дверной «глазок» для поверки, цело ли «казенное имущество». В полночь, а потом в 3 часа ночи повторялось то же самое. А в шесть часов, едва забрезжет утренний свет, он опять уж тут со свежей сменой жандармов, чтоб поднять и запереть в камерах койки и зимой убрать лампу.

Это была настоящая сторожевая собака, неусыпный Цербер, подобный трехголовому псу у ворот тартара, и, как тот охранял вход в ад древних греков, так и он сторожил тюремный ад нового времени. Он служил не за страх, а за совесть и любил свое дело—гнусное ремесло бездушного палача. Его готовность итти в своей профессии до конца выразилась вполне в одной угрозе, сказанной при соответствующем случае. «Если прикажут говорить заключенному: «Ваше Сиятельство»—буду говорить «Ваше сиятельство». «Если прикажут задушить—задушу.» Так откровенно и образно он высказался, кажется, пред Поповым, который не пренебрегал иногда беседовать со своим истязателем.

Когда одного за другим смотритель выводил нас на прогулку и, замыкая шествие, шел позади, зимой в широкой военной шиниели с капюшоном, раздуваемым ветром, шел с мрачным, угрюмым лицом, то напоминал факельщиков, которые провожают катафалк похоронной процессии, следуя за покойником на последнем земном пути его. И разве он не был факельщиком и могильщиком, он, видевший столько картин страданья, болезни и смерти? Не говоря о тех, кого он проводил в могилу из казематов равелина, в течение 3-х лет своей службы в Шлиссельбурге, он вынес за ограду крепости 12 человек, погибших от физического истощения и морального страдания, и тайно предал их земле в том месте, где в 1918 г. воздвигнут памятник, величающий усопших. В течение тех же 3-х лет он проводил на расстрел Минакова и Мышкина, и на виселицу Рогачева и Шромберга в 84 году, Ульянова, Шевырева, Осипанова, Андреющкина и Генералова в 87-м, чтоб в этом же году закончить зрелищем смерти Грачевского. Удивительно ли,

что этот преданный служака; истинный холоп и верноподданный был сражен апоплексическим ударом, когда услышал о своем увольнении от должности *за нерадение* и *недосмотр*, дозволивший Грачевскому сделать из себя живой факел.

Этот человек любил деньги и, повидимому, умел воровать. На дневное содержание каждого узника, врученного ему, давался десятикопеечный солдатский паек. Трудно на таком пайке скопить капитал и выстроить палаты каменные. Но мало ли где можно было найти источник дохода, когда для охраны 2—3 десятков заключенных содержалось 360 человек гарнизона. Так или иначе, но у Соколова явился в Петербурге дом, большой каменный дом. Вместе с тем он был анекдотически скуп. В 1907 году, 20 лет спустя после его увольнения, в Петербурге вышел 1-й том Галлереи Шлиссельбургских узников. Он лежал на складе в конторе Русского Богатства. Туда явился Соколов и спросил книгу. Не знаю, каким образом, но завязался разговор, при чем Соколов сказал, что интересуется содержанием книги, потому что Поливанов в своих мемуарах об Алексеевском равелине о нем, Соколове, «наговорил много лишнего». Книгу, однако же, он не купил. Узнав, что она стоит три рубля, он нашел, что дорого.

Новорусский, поступивший в Шлиссельбург за полгода до увольнения Соколова и мало испытавший его систему управления, хотел после своего выхода из крепости повидаться с этим Малютой, надеясь выведать что-нибудь о судьбе Нечаева и Александра Михайлова, погибших в равелине при обстоятельствах, тогда никому неизвестных. Но интервью не состоялось, а потом Соколов умер. Но память о нем живет в нас, побывавших в его руках, и, можно надятьсяе, останется в умах тех, кто когда либо будет интересоваться эпилогом борьбы «Народной Воли» против самодержавия, тем мрачным эпилогом—настоящим синодиком, который записан на страницах истории Шлиссельбургской крепости.

ГЛАВА IX.

Голодовка (1889 г.).

Прошло два года с тех пор, как я была в карцере. В эти годы было много дней таких смутных и бесцветных, что память не может ничего сказать о них. Были и такие, когда в душе все билось и клокотало, и такие, когда душа только ныла и тихо болела. Были кое-какие столкновения с администрацией и более или менее крупные факты тюремной жизни.

Но я расскажу только о нашем коллективном протесте в форме девятидневной голодовки.

Как все казенные учреждения, наша тюрьма периодически подвергалась ревизиям. Обыкновенно они происходили два раза в год и всегда беспокоили и расстраивали нас. В том однообразии, в котором мы жили, всякое нарушение рутинного порядка дня было тягостно. Все, что прерывало норму—страшно волновало: возбужденные нервы вызывали головную боль и долго не могли притти в покой.

Одна за другой отворяются двери камер, слышатся многочисленные шаги по корридору и гул голосов. Вот-вот войдут к тебе. Войдут толпой, окруженные жандармами, чуждые и равнодушные или враждебные, совсем тебя не понимающие. Будут спрашивать; неуклюже коснутся, пожалуй, чего-нибудь наболевшего. Тягостны оффициальные вопросы, на которые в смущении спешишь ответить: «Да»... «Нет»... А вытянувшиеся в струнку жандармы, стоя по обе стороны сановника, «едят вас глазами», готовые грудью защищать высокого посетителя от вас, как от дикого зверя.

Вот ушли—а взбудораженный, выбитый из колеи узник с обостренным чувством того, что он в заточении, начинает метаться взад и вперед по камере, желая утишить волненье.

Ах, эти посещения! Этот смотр!.. Это врывание к тебе!

И каждый раз, подобно тому, как это бывает во всех казенных учреждениях, по тайному уведомлению со сто-

роны благоприятелей, администрация тюрьмы знала о предстоящем приезде начальства; знала и готовилась, в первые годы скрытно, а чем дальше, тем откровеннее.

Так и на этот раз, осенью 1889 г., смотритель Федоров был предупрежден и, обходя одну камеру за другой, каждому из нас говорил: «лишние книги какие не оставляйте на виду: сдайте в библиотеку или спрячьте.»

Он имел в виду книги, привезенные нами при поступлении в крепость и после многих хлопот принятые в библиотеку, возможно, что без предварительного представления списка их петербургским властям.

Совет был хорош, и все последовали ему. Все, кроме одного.

Директор департамента полиции Петр Николаевич Дурново —так как на этот раз это был он—благополучно следовал от одного заключенного к другому. Вот он входит в камеру № 28-го, к Сергею Иванову. На опущенной койке лежит книга; Дурново берет ее. «Гм... Гм»... мычит он: «История Великой Французской революции, Минье!»..

И по выходе из камеры выражает смотрителю и коменданту удивление, что подобные книги допущены к обращению в тюрьме. Затем делает распоряжение рассмотреть библиотечный каталог и изъять все, имеющее какую-нибудь связь с общественными и политическими взглядами заключенных.

35 книг, лучших в нашей маленькой библиотеке, которая одна поддерживала в нас работу мысли, были изъяты из употребления: Мотлей—История революции в Нидерландах (2 тома); Гервинус—История XIX-го столетия (5 томов); Спенсер—Социология и его же—Изучение социологии; Маудсли—Тело и дух (на английском языке); Биография Линкольна; История междуусобной войны в Соединенных Штатах; Писарев (один том) и др.

Это были, как-раз, книги, привезенные нами с собой—самое ценное, чем мы располагали. Теперь эти дорогие для нас книги, уже раз принятые, подвергались опале и запрещению. Нас лишали единственного духовного достояния и не было гарантии, что за одним изъятием не по-

следуют и другие. Это был моральный ущерб и он всколыхнул всю тюрьму.

Незадолго перед тем некоторые товарищи, особенно жаждавшие бесед с другими, открыли, что водосточные трубы камер не изолированы для каждой из них в отдельности, но прерваны только в четырех местах, так что, опорожнив их, заключенные каждой отдельной части могли слышать друг друга и говорить между собой, как это делалось в Петербурге в Доме предварительного заключения. Так образовалось четыре клуба, и по поводу отнятых книг явилась возможность сговора в каждом из них. А сношения клубов между собой происходили посредством стука через корридор—способ для сговора крайне несовершенный, хотя в то время, при Федорове, стук уже не вызывал репрессий.

Как только изъятие книг стало известно, началось обсуждение, как быть? Все единодушно находили, что оставить дело без протеста невозможно. Книг было мало, приобретать их мы не могли, а теперь из этого малого у нас отнимали самое ценное. Если мы подчинимся, молча, не будут ли отнимать и дальше?

Некоторые предлагали протестовать в форме отказа от прогулки. Засесть, не выходить из камер, конечно, было нетрудно. Но кто же обратил бы внимание на это? Уж, разумеется, не департамент полиции, от главы которого исходило распоряжение.

Лишить себя прогулки! возможности подышать свежим воздухом, хотя бы час в день. Сидеть взаперти до бесконечности и, измучив себя этим самоистязанием, убедиться в его бесполезности и выползти из затворничества, не достигнув цели. Нет! Пусть протест будет пассивным, но менее затяжным и более серьезным, говорили другие—особенно настойчиво я—и предлагали отказаться от пищи—голодать, но голодать не 3—4 дня, а до смерти. Пусть будет не одна жертва, пусть умрут хоть несколько человек, но мы отстоим право на книгу, которая одна может скрасить нашу жизнь.

Так произошло разногласие. Большинство, в которое

входили: Л. А. Волкенштейн и ее соседи: Морозов, Конашевич, Похитонов, Тригони, Буцинский и другие, стояло за отказ от прогулки, и все тотчас перестали выходить из камер. Но меньшинство, в котором была я; Юрковский, Попов, Стародворский и Мартынов, имевшие возможность сговориться через трубы, а из отделения, в котором находилась Людмила Александровна, человека 2 или 3—находили, что этого мало и настаивали на общей голодовке. Когда выяснилось, что единодушного решения быть не может, наше инициативное меньшинство из 5 человек постановило начать голодовку, не считаясь с мнением большинства. И мы, действительно, ее начали.

Этим мы сделали громадную ошибку. Лишь много лет спустя (по поводу голодовки Карповича в 1901 г.), я поняла все значение того, что мы сделали. Я поняла, что наше решение было несправедливо и недопустимо: нельзя в тюрьме предпринимать *такого* протеста ни индивидуально, ни группой, если остальные товарищи не сочувствуют и не хотят итти на него. Потому нельзя, что голодовка в своем течении непременно *втягивает* и других, втягивает *против их воли*: ни одна душа не вытерпит, что рядом, добиваясь чего-нибудь, товарищи голодают. Согласен человек или не согласен, днем раньше, днем позже, чувство товарищества и сострадание заставят присоединиться к протесту. Но при такой мотивировке устойчивости в протесте ждать нельзя. Между тем голодовку, как я понимаю, надо или вовсе не предпринимать, или предпринимать с серьезным решением вести *до конца*. Но тащить людей *против их воли на смерть* из одной жалости к голодающему— на такое насилие *сознательно*, конечно, никто не пойдет, а временная поддержка и отступление влекут полную неудачу.

К сожалению, в то время я совсем не думала об этом и так мало считалась с настроением других, что чувствовала раздражение против несогласных. Их сопротивление я считала слабостью и негодовала, что чувство самосохранения говорит в них: «они не хотят рисковать жизнью, думала я, а рисковать надо, рисковать стоит».

Последствия нашего поведения были печальны, в особенности для меня.

Как только голодовка была нами начата, все, раньше несогласные, тотчас присоединились к ней. Оказалось, втайне от нас, они решили сопротивляться пока можно, но, если мы начнем, пристать к нам [1]).

Так объединилась почти вся тюрьма. Воздержались: Лопатин, который никогда не участвовал в наших протестах и принципиально отказывался от каких бы то ни было общих выступлений, так как по его мнению сговор в тюрьме невозможен; Антонов, потому что он стоял только за активные протесты; Ашенбреннер, который откровенно признался, что боится не выдержать до конца, и, наконец, Василий Иванов и Манчуров не одобряли голодовки и не примкнули к ней *открыто*: и тот, и другой для вида брали пищу, но выбрасывали ее в клозет. Они боялись, что не выдержат и отступят, и открытым отступлением повредят общему делу.

В отделении, где была я, Юрковский, Попов, Мартынов и Стародворский, все лежали на койках и между собой почти не разговаривали. Но в отделении, где были Людмила Александровна, шли постоянные расспросы, кто как себя чувствует? Через несколько дней у одного кружилась голова; другой не мог стоять на ногах. У Буцинского случилась рвота с кровью. И как ни нелепо, к нему пригласили тюремного врача, Нарышкина. Тот совершенно резонно заявил, что странно лечить людей, которые морят себя голодом, и оказать помощь отказался.

Случай с Буцинским произошел на девятый день голодовки. После этого кто-то из его соседей предложил прекратить ее, и большинством голосов всех, кто сидел на северо-восточной стороне тюрьмы, предложение было принято. Мне сообщил об этом Попов и прибавил, что в виду решения большинства, он дальше голодать не будет.

Мартынов, человек здоровый и сильный, не выдержал

---

[1]) При этом было постановлено: чай брать, но без сахару. Кроме того, товарищи решили, что женщины начнут голодать двумя днями позже.

с самого начала и уже на третий день стал есть. Я, в своей строгости, прекратила с ним всякие отношения.

Стародворский, который говорил, что умрет, как Сенека, вскрывший себе артерию, сделал неловкую попытку пустить себе кровь; жандармы заметили и увели его в старую тюрьму, где под влиянием охватившего его, как он говорил, желания жить, он стал есть.

Оставались я и Юрковский.

Последний простучал мне, что поступит так, как поступлю я. А я ответила, что привыкла доводить дело до конца, решение большинства не считаю для себя обязательным и буду продолжать протест.

Отступление товарищей было для меня тяжелым ударом. Конечно, чувство одиночества, брошенности само по себе было горько, но было нечто, гораздо более глубоко затрагивающее. Пять лет тому назад я вступала в эту тюрьму с принесенным с воли идеальным понятием о революционере вообще и о революционном коллективе в частности. О революционере, который никогда не отступает, я судила по Желябову, Фроленко и другим членам Комитета; о революционном коллективе—по сплоченности и солидарности Исполнительного Комитета Народной Воли. Теперь этим представлениям пришел конец. Произошел опыт и он клонил меня к земле. Здесь—все были революционеры. И они говорили слова, выражали готовность умереть. Говорили о жертвах, о доведении протеста до конца.

Что-ж это было? Искренно говорили они или неискренно? Сами обмановались или других хотели обмануть? Но кого же? Начальство, которое через жандармов знали о содержании всех разговоров, происходивших громко через трубы, и эти разговоры были словесной демонстрацией с целью подействовать на тюремщиков?

Неужели то были пустые угрозы, и говорившие хорошо знали, что никаких смертей не будет, и в этом протесте никто своей жизнью не рискуте? Почему же, в таком случае, товарищи не предупредили меня?

Да если это действительно была комедия, то она не-

достойна революционера: у него слово не должно бросаться даром даже для врагов.

Если же слова и намеренья были серьезны, то отступление есть слабость, отсутствие мужества для выполнения того, что собирались выполнить. А ведь мои товарищи—сильные люди, самые сильные, какие только есть в России. Иначе они не действовали бы так, как действовали на свободе, когда не были в этой каменной могиле. Да—они сильные люди и *должны* быть сильными.

И однако, они говорили—и не сделали.

Это было жгучее разочарованье и переполняло меня необузданным гневом. Особенно возмущало меня то, что инициатива общего прекращения голодовки принадлежала тем, кто первоначально был против нее. Несправедливые темные подозрения приходили мне в голову и, казалось, я ненавижу всех. У меня оставались в жизни только они, эти товарищи, и эти товарищи, изменившие себе, теперь являлись для меня чужими. Я верила в них, в их стойкость, в их непреклонную волю, я теперь видела перед собой не сплоченный коллектив, который я себе представляла, а распыленные личности, слабые, нестойкие, могущие отступать, как отступают обыкновенные люди.

От этих мыслей перевертывалась вся душа. Голодовка зашла уж далеко и вместе с ней и моя решимость довести ее до конца. После всего пережитого *мне было уже легче умереть, чем жить*. Все существо мое стремилось к смерти.

Да, я буду голодать и уморю себя. Я доведу предпринятое до конца. Пусть «они» отступили—это их дело, а я, что решила, то исполню.

И вот, когда для твердой воли был пройден предел, за которым невозможно отступление, когда не было ничего более желанного для меня, как оставить эту жизнь, уйти из этой жалкой, униженной, обыденной жизни, те же товарищи, двое из них, нанесли мне новый удар.

Для человека, который обладает волей и, в полном сознании того, что он делает, остановился на определенном решении, не может быть большего оскорбления, чем вмешательство, не дающее выявиться его кристаллизовавшейся

воле, ломающее ее. Это вмешательство, эта ломка есть покушение на духовную сущность человека, на его органическое право в особенностях поведения—выявлять свою индивидуальность и творить свою неповторимую форму жизни.

И товарищи посягнули на мое решение, сломали мою волю.

Я и Юрковский голодали уже два дня, когда Попов, а потом Стародворский, каждый в отдельности, без сговора между собой, заявили мне: если я умру, они покончат с собой.

Это было нравственное насилие, и оно привело меня в ярость. Как! Эти мужчины, которые раньше сговаривались со мной, а потом, даже не спросив меня, отступили, теперь смеют требовать от меня того же. Их мужское самолюбие не может допустить, чтобы там, где они отступили, женщина оказалась последовательнее и тверже их: им стыдно и они хотят свести меня к тому уровню, на котором стоят сами; они не хотели *умирать*, так и меня принуждают *жить*!

...Быть может, надо было отнестись с насмешкой к этому заявлению и не поверить ему. Но было в нем что-то, что заставляло верить, и я поверила. Что было делать? Разве я могла вести на смерть двах людей, которые только-что показали, что они дорожат жизнью, *хотят жить*. Нет, я не потащу их насильно в могилу... Не хочу, чтобы они умерли не за общее дело, а из-за меня.

И я прекратила голодовку, но сделала это в состоянии полного отчаянья. В тот момент духовно я порвала со всей тюрьмой, и дала себе обет, о котором и заявила товарищам, что отныне отщепляюсь от них и ни в каком *серьезном* протесте по общему сговору участвовать не буду: если надо будет протестовать—протестовать я буду, но протестовать единолично, по собственному усмотрению, потому что наша голодовка показала мне, что нет и двух людей, у которых пульс бился бы одновременно. Вперед я буду итти *своей* дорогой, буду сама решать, *что* мне делать и *как* делать.

Я сурово порицала отрицательное отношение Лопатина ко всем нашим коллективным выступлениям (отказ от прогулки вдвоем и от огородов, бойкот Шебеко за грубость, бойкот офицера, заведовавшего мастерскими). Не имея достаточно опыта, я верила в возможность сговора и стойкого солидарного действия всей тюрьмы. А между тем, разочарованье и отчаянье, которые мне принес исход нашей голодовки, *были следствием именно невозможности*, как следует, обсудить со всеми товарищами подробности нашего протеста и узнать настроение и намеренья всех и каждого. Хотя большинство и противилось моему предложению не только отказаться от прогулки, но и голодать, все же я думала, что в решительный момент они действовали по убеждению, а не из жалости. Я не знала, что товарищи, как много позже мне рассказывал Морозов, говорили между собой: «Вера будет голодать. Как же мы ее оставим?!.»

Не была я правильно осведомлена и о самом важном: была-ли у товарищей решимость итти в голодовке до конца? Сама я имела эту решимость с самого начала; я слышала заверения о такой же решимости от Попова, Стародворского, Юрковского и Мартынова; слышала то же самое при переговорах стуком Попова с кем-то из отделения Людмилы, и ошибочно приписывала такую же решимость, какая была у меня, всем другим. А между тем, по свидетельству Морозова и Новорусского, Шебалина и Панкратова, которых, каждого в отдельности, я расспрашивала специально об этом,—ни у одного из них и—как думаю теперь и у других—такой решимости не было. Для них вопрос, *когда* и *как* кончить голодовку, оставался открытым. Они предоставляли это течению обстоятельств. Если бы все это я знала в свое время, то шла бы с открытыми глазами, и если бы все-же не отказалась от мысли о голодовке, то не требовала бы от людей того, чего они не обещали.

...Надо ли говорить, что в смысле положительных результатов, голодовка, которая по всем признакам ничуть не беспокоила тюремного начальства, была неудачна—и книги нам тогда возвращены не были.

Последствием была даже некоторая репрессия. В один из тех дней, когда я еще голодала, нас обошел вновь назначенный комендант—Добродеев, остававшийся в этой должности, кажется, не более месяца. Он прочел бумагу о том, что деньги, привезенные каждым из нас при поступлении в крепость, конфискуются и будут переданы родным[1]). Между тем, незадолго до голодовки, мы имели разрешение употребить эти маленькие суммы на увеличение нашей библиотеки. Отчасти это было уже исполнено; так, Морозов выписал многотомную Всеобщую географию Реклю; остальные товарищи этой возможностью воспользоваться не успели—теперь мы вовсе лишались ее.

Так кончилась тюремная история, причинившая много огорчений всей тюрьме, а меня поставившая на край гибели. Нравственная катастрофа, испытанная мною, смела тишину и покой, которые во время голодовки с ее ожиданием смерти воцарились во мне. Душа моя была потрясена глубоко, и много лет должно было пройти, чтобы духовно я восстала. А воспоминание и след пережитого живут и до сих пор.

В течение 9 дней, в которые я не принимала пищи, голод не причинял мне никаких страданий—я вовсе не чувствовала его, тогда как другие, физически более сильные и менее нервные, на второй и третий день испытывали большие муки: здоровый Мартынов не вытерпел и трех суток. У меня же за все время не было ни малейшего позыва на еду и я не замечала в себе ничего ненормального: я спокойно лежала на койке и занималась чтением. Голова моя была совершенно свежа, и я с удовольствием читала пьесы Мольера на французском языке; читала и смеялась над Гарпагоном и его беседой с поваром, но особенно забавлял меня «Мещанин в дворнястве». Только слабость понемногу давала себя знать и после 9 дней при движении в глазах темнело, как вообще темнеет при долгом лежании. Таким образом, мое решение продолжать голодовку не требовало ни выдержки, ни какого-либо преодоления; с этой стороны мое положение было несравненно выгоднее положения других товарищей, бывших

[1]) На деле они были просто конфиско аны.

в ином душевном состоянии, чем я. Вероятно, в полном отсутствии физического страдания играла роль та спокойная, стойкая решимость, которая была у меня с самого начала. Но, если во время голодовки мой организм не подвергался большому испытанию, то последствия были ужасны: не говоря уже о настроении, вся нервная система моя пришла в расстройство; задерживающие центры перестали действовать; во многих направлениях моя воля не то, что ослабела, а совсем исчезла. Рефлексы на слух, сильные и раньше, повысились невероятно: при каждом внезапном звуке, вместо прежнего нервного содрогания—стал вырываться крик, а позже рыдания, которые беспокоили всю тюрьму, и, что всего хуже, сдерживать их у меня не было ни малейшего желания. Не знаю, как далеко завела бы меня эта развинченность, но я услышала те слова, которые были сказаны обо мне Лопатиным и приведены во 2-й главе этой книги—слова, вызвавшие во мне перелом.

Общественная роль! Общественная миссия! Неужели же здесь, по ту сторону жизни, для меня существует еще какая-нибудь миссия? и я нужна кому-нибудь, и принадлежу не только себе и друзьям... Общество—считала я—извергло меня из среды своей... Жизнь—считала я—отвергла меня и выбросила за борт... Неужели же у меня есть еще какое-нибудь предназначение?

Общественная роль, как сказано во 2-й главе, казалась мне сыгранной, до последней ноты сыгранной. Эту роль я на свободе считала минимальной и никогда не думала, что наши имена не будут забыты. Мне казалось, что мы так далеки еще от цели наших стремлений, что период, в котором мы живем, можно назвать лишь геологическим; что нас, Народовольцев, можно сравнить с теми крошечными организациями, теми микроскопическими фораминиферами, которые день за днем, год за годом, умирая, опускаются на дно моря, и в течение веков образуют своими скелетами могучие пласты мела. Отдельный организм неразличим невооруженным глазом: маленькая хрупкая скорлупка ничтожна, и только в целом—меловой пласт мощен и образует целые горы.

Вдумываясь в услышанное, я почувствовала, поверила, что я еще не умерла для всего того, что лежит за пределами нашей крепостной ограды; она словно раздвинулась— и мой взор устремился в даль, в ту даль, где я была раньше, и ради которой я должна была оставаться на известной высоте.

ГЛАВА X.

Материнское благословение.

Среди вещей, которыми я дорожу, есть дешевый фарфоровый образок. Им после суда, перед разлукой, меня благословила мать, и я берегу его больше всего. Его не отняли: в Шлиссельбурге он был со мной; с ним не расстаюсь я и теперь.

На одной стороне его наивно нарисована фигура, преклонившая колена пред изображением Богоматери, а на другой—стоит надпись: Пресвятая Богородица «Нечаянные Радости».

И, благославляя, мать говорила: «Быть может, когда-нибудь, и к тебе придет «*Нечаянная Радость*».

О чем думала мать, произнося перед разлукой именно эти, а не какие-нибудь другие, хорошие слова?.. О перемене судьбы, о радости свиданья с нею? Или, быть может, благословляя, она хотела укрепить меня? внушить, что, как бы ни придавила меня жизнь,—*совсем безрадостного существования быть не может*!

Год проходил за годом, а радость, радость свиданья с ней, с матерью, не приходила. И, уходя все более и более в даль, уж не заглядывая вперед, а оглядываясь назад,—в событиях внутри тюрьмы я искала исполнения того, о чем говорила мать, благословляя, и о чем напоминал образок, не переставая.

Были ли радости в Шлиссельбурге?

Да, они были; а еслиб их не было, разве можно было перенести и выжить?

В первые годы, самые тяжелые для начинающего, все радости состояли в сношениях с товарищами. Тихий привет стуком в стену, стихотворение, переданное тем же способом, поздравление в день именин; несколько ласковых строк в записке, пересланной тайно, в книге: как волновало, как радовало все это!..

Но было в этих радостях что-то горькое, доводившее до слез: они будили, когда лучше бы не будить; напоминали, когда лучше было бы не напоминать.

...Проходили годы и приносили иные, беспримесные радости.

И первой такой радостью была газета—*один* номер газеты.

Высокий красивый офицер одно время заведывал мастерскими, в которых мы работали в старой исторической тюрьме, стуком молотка и рубанка прогоняя воспоминание о длинной галлерее когда-то здесь томившихся в тишине.

Однажды, когда мы работали, офицер пришел с газетой в руках и, прочитав, отложил, быть может, не без умысла, в сторону—так, что желающий, проходя мимо, мог незаметно взять и унести ее.

Так и случилось. Переходя из рук в руки, газета обошла всю тюрьму.

Нансен, затертый неподвижными льдами на «Фраме» по пути к северному полюсу, Стэнли, через девственные леса пролагавший первый путь через центральную Африку, едва ли обрадовались бы неожиданно залетевшему к ним свежему листку газеты *так*, как обрадовались ему мы, безнадежно запертые в стенах крепости.

В газете была хроника внутренней жизни, сухая, стерелизованная цензурой. Казалось, за время нашего отсутствия ни один кустик, ни одно новое деревцо не выросло на обширном пустыре нашей родины.

Но там же мы нашли статью о Германии и она открывала широкий горизонт в даль.

В связи с намерением императора Вильгельма созвать общеевропейскую конференцию по рабочему законодатель-

ству, газета говорила об отмене исключительных законов против социалистов, изданных после покушения Геделя и Нобилинга; говорила о том, как, вырвавшись из тисков подполья, социал-демократическое движение быстро и неудержимо разлилось в стране. С радостным волнением мы читали о митингах и конгрессах, о развитии рабочей и социалистической прессы, о быстром росте числа членов социал-демократической партии.

Пускай это была Германия, а не Россия: нам, как социалистам, воспитавшимся под знаком Интернационала, интересы рабочего класса всех стран были дороги и близки.

Мы ликовали: стены тюрьмы впервые раздвинулись, раздались. На мгновенье явился свет и, блеснув, принес дуновение свободы.

Второй радостью была—книга.

Тюремная библиотека вначале была ничтожна. Она состояла из 160 названий, среди которых, кроме книг духовно-нравственного содержания, можно было найти лишь старье, относящееся к первой половине XIX столетия: «Записки английского офицера об Индии» 46-го года; «Путешествие в Константинополь» Базили; «Путешествие в Грецию» его же (в 40-х годах); «Путешествие в Монголию и Тибет» на немецком языке; «Геология Бельгии»—на французском; «Кавказ: нравы, обычаи и легенды»; сочинение Тенгоборского 50-х годов о производительных силах России. После 3—4 летних усиленных хлопот и домогательств в общее употребление были допущены и те немногие книги, которые кое-кто из нас привез с собой при поступлении в крепость. Но и они скоро были прочитаны. Дальнейшее поступление книг из департамента полиции шло микроскопическими дозами, пока, наконец, не прекратилось вовсе.

В 94-м году, когда отсутствие необходимого чтения особенно тяготило нас, я сделала попытку выйти из этого положения и обратилась к коменданту Гангарту с просьбой: не найдет ли он возможным, в виду крайнего недостатка книг, взять для нас несколько абонементов в какой-нибудь из петербургских библиотек, с тем, чтобы жандармы могли

по этим абонементам брать, привозить и отвозить нужные нам книги и учебные пособия.

Просьба была почти безнадежная: ведь исполнение устанавливало связь между нашим заколдованным местом и вольным учреждением!

И однако Гангарт сказал: «Хорошо! я устрою это!»

Через несколько дней мы получили каталог, а потом— целый ящик книг по нашему выбору.

Велика была радость!

Первая книга, попавшая мне в руки, была небольшая книжка г-жи Янжул об Англии. Эта книга и в нормальных условиях жизни произвела бы хорошее впечатление, а для затворницы—была источником живой воды, целым откровением; была тем, чем для читателя из народа, не искушенного многочтением, бывала «запрещенная» брошюра, открывавшая ему новый мир понятий.

Только в заточении, в его засушливой атмосфере, можно притти в такое восторженное состояние, в каком я читала о могуществе английских тред-юнионов, о блестяще проведенных стачках углекопов, о необычайном расцвете английской кооперации и о том движении среди английской интеллигенции, которое выразилось в организации народных университетов и университетских поселений.

В рабочие кварталы Лондона, Манчестера и Ливерпуля английская интеллигенция, подобно русской молодежи 70-х годов, несла свое знание и свою любовь—разве это не согревало, не бодрило застывшую душу? Забывалась *своя* тюрьма, *своя* бездеятельность, *своя* личность— речь шла о трепетании жизни, о новых, свежих ростках ее на благо народных масс.

Газета пришла—один номер—блеснула и ушла.

Пришла книга—на минуту распахнула стены тюрьмы—осветила и ушла...

Департамент полиции решительно запретил брать книги в вольной библиотеке.

Но скоро пришел новый источник бодрости и силы, пришла радость.

Морозов как-то узнал от доктора, что в Петербурге существует Подвижной музей учебных пособий с богатыми коллекциями по разным отраслям естествознания. Доктор даже приносил ему несколько коробок с окаменелостями из этого музея.

Лукашевич, Морозов и Новорусский особенно интересовались естественными науками, а я уже несколько лет старалась наверстать в отношении их то, что было мной упущено при изучении медицины в Цюрихе. Мысль доставать по абонементу из музея различные коллекции, так необходимые при занятиях естествознанием, соблазняла нас, и мы решили добиваться разрешения пользоваться ими. Морозов обратился к Гангарту, который всегда делал для нас все возможное. Но Гангарт сказал в этот раз, что необходимо обратиться в департамент полиции: самолично он не может разрешить этого.

Как мотивировать просьбу? Думал, думал Морозов и, наконец, придумал: изложив просьбу, он писал, что ему *нужны камни*, так как он занят сочинением о строении вещества [1]).

Такая несообразная мотивировка явилась для нас полной неожиданностью; мы смеялись и думали—ничего не выйдет из этого.

И однако... однако департамент, не разрешивший брать книги по абонементу,—брать камни разрешил.

С той поры, почти в течение 4 лет, доктор Безроднов оказывал нам незабываемые услуги, служа посредником между нами и музеем.

Каждые две недели он привозил (и отвозил обратно) целые ящики со всевозможными учебными пособиями. Мы имели возможность постепенно пересмотреть богатые коллекции музея по геологии, палеонтологии и минералогии; приборы по физике; гербарии, препараты по гистологии и зоологии—словом, мы воспользовались всеми богатствами, которые только имел музей.

Мало-по-малу, захватным способом, содержание льготы

---

[1]) Сочинение трактовало об *эволюции* вещества и о распространении периодической системы Менделеева на органические соединения.

расширялось: доктор стал привозить из музея книги как научные, так и общего характера. Потому музей, уже по своей инициативе, стал пользоваться нами, как рабочей силой. Он присылал сырой материал по энтомологии, ботанике, минералогиии и поручал нам обработку его в различного объема коллекции и гербарии для средних и низших школ.

У нас самих в то время был налицо богатый материал для гербариев: в огородах мы воспитывали несколько сот видов различных растений; а почва острова, на котором мы жили, изобиловала древними горными породами: она представляла наносы силлурийской системы. Стоило наклониться—и можно было набрать, сколько угодно, образцов, гранита, гнейса, диабаза, диорита, для составления миенралогических коллекций.

Работа в тюрьме закипела: столяры, токари и переплетчики стругали, точили и полировали; делали ящики из дерева, изобретали разные приспособления и улучшения для монтировки препаратов; клеили коробки из картона, точили блюдца для минералов, а любители естествознания составляли изящные гербарии по систематике и органографии, коллекции мхов и лишайников, водорослей и грибов; коллекции плодов и семян; приготовляли сотни стеклянных пластинок с разобранными частями цветка; подбирали коллекции горных пород, минералов и руд; составляли набор насекомых и т. д. Все это, вместе с десятками ящиков для физических приборов, переправлялось через доктора в музей.

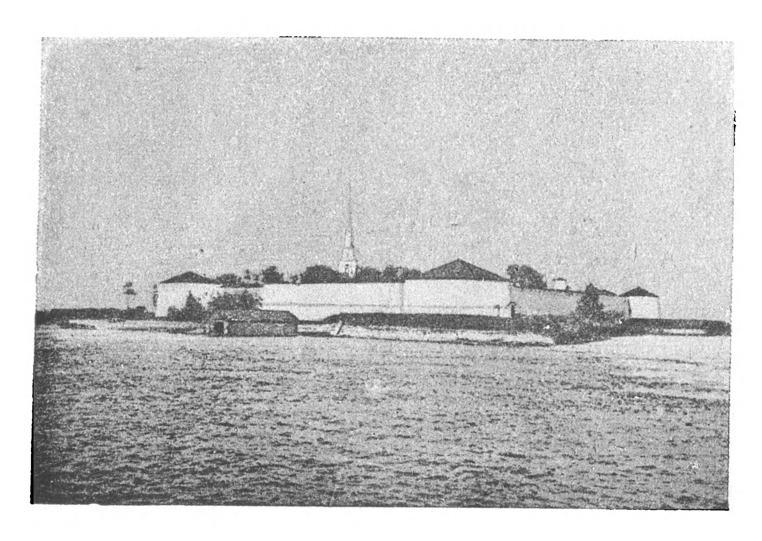
Было чем помянуть эти годы. Явилось содержание дня, явилось преодоление, задача, которую надо было выполнять. Работа на Подвижной музей, который мы обогащали своим трудом, протягивала от мертвых нить к живым. Смягчалась боль от сознания своей бесполезности, своего бесплодия. Утихала скорбь, непрерывная, безутешная, что ты оторван навсегда от мира, что для тебя нет общественного дела, нет общественной реальной цели. Нет ее—и навсегда!

...Потом и это отняли. Ушел Гангарт, ушел Безроднов.

Была смута в тюрьме... изменились порядки. Работа, дававшая нравственное удовлетворение, была вырвана из рук.

...Радость свиданья не приходила,—не пришла!.. Но ведь исполнилось обетование: *не было совсем безрадостного существования.*

В черном клубке скорби и печали были нити, светившие светом солнечного дня; были радости—большие, «*Нечаянные Радости*», те, о которых говорила мать, укрепляя, говорил образок, утешая.



Общий вид Шлиссельбургской крепости.

ГЛАВА XI.

Комендант Гангарт.

Первым комендантом крепости, как уж было упомянуто, был Покрошинский. Высокий, худой старик с бледной, совершенно бесцветной наружностью, он был и человек бесцветный.

Каждый месяц он обходил всех нас, спрашивая о здоровье и нет ли заявлений? Обыкновенно заявлений не было, а еслиб были, то были бы бесполезны: какой ни будь в то время комендант, он все равно не мог бы изменить режим нашей тюрьмы. В обращении он был вежлив, но факт остается фактом, что во время его управления жандармы производили избиения и, по рассказу Манучарова, который Покрошинский однако отрицал, этот вежливый комендант, стоя у тюрьмы, был *очевидцем*, как жандармы били Манучарова, когда его вели в карцер. Покрошинский прослужил пять лет и если это пятилетие было тяжело для нас, то нелегко оно далось и ему: он сошел с ума, как нам рассказывали впоследствии, и причиной была постоянная боязнь, что наши друзья попытаются насильственно освободить нас. Не давая покоя жандармам, он беспрестанно посылал их на крепостную стену посмотреть, нейдут ли вооруженные люди на штурм крепости.

В 1889 году, тотчас после голодовки, появился Databдеев, жандармский офицер, раненый в ухо при вооруженном сопротивлении в Одессе по делу Ковальского. Мы видели его всего раз, когда он обходил камеры и читал бумагу, лишавшую нас той маленькой льготы, какую мы имели относительно приобретения книг.

Вслед за Добродеевым комендатом был назначен Коренев, высокий пожилой человек с довольно симпатичным лицом.

Первая встреча его со мной была довольно оригинальна: войдя в камеру, он приветливо протянул руку для пожатия, отрекомендовался и прибавил: «Я служил в Казани и знаю вас. Вскоре после вашего выпуска из Института, я видел вас в дворянском собрании на балу, когда на вас обратили мое внимание».

Коренев, как говорили, пил горькую. Тихий и пассивный, он редко посещал тюрьму и совершенно не вмешивался во внутренние распорядки ее. Мы не преминули воспользоваться этим и начали завоевания, на которые он смотрел сквозь пальцы.

При нем, как бы в вознаграждение за то, что не удовлетворили нашего требования относительно книг, вместо пищи духовной нам улучшили пищу материальную: стали давать белый хлеб и выдавать на руки чай и сахар. При нем же в 1891—92 гг. устроили несколько мастерских, которыми поочередно пользовались мужчины, а я и Людмиила Александровна стали в своих камерах заниматься выпиливанием ажурных вещиц.

До Каренева, Людмила Александровна и я, как единственные женщины, содержавшиеся в крепости, могли видеться только друг с другом, тогда как мужчины, получив прогулку вдвоем, вскоре добились права менять состав своей пары. Таким образом, каждый из них мог познакомиться со всеми, выбирая себе из 21—28 человек любого собеседника. Желая войти в общение с нами и поставить нас в такие же условия, в каких были сами, предприимчивые товарищи решили разрушить преграды, разделявшие нас: они утащили из мастерских коловороты и стамезки и на прогулке принялись сверлить высокие двойные заборы огородов и «клеток». Вначале это были скромные круглые отверстия, величиною в медный пятак. Скоро это показалось мало, и они прорубили небольшие оконца, через которые, находясь в двух смежных «клетках» или огородах, можно было свободно разговаривать.

Жандармы и смотритель Федоров, конечно, заволновались по поводу этого нарушения изоляции, но Коренев вел себя, как будто ничего не слыхал и не видал, хотя, появля-

ясь изредка на сторожевой вышке, мог отлично видеть происходившие у окон собеседования. Так это важное завоевание и укрепилось.

Нельзя сказать, чтоб я с первого раза оценила это приобретенье. Одиночное заключение влияло на меня таким образом, что мало по малу я потеряла потребность в общении с людьми. Один—два друга были бы для меня вполне достаточны; но Людмила Александровна была человек очень общительный, и тюрьма ничуть не изменила ее. Она любила общество, любила, как она выражалась, «быть на улице». В этом мы составляли тогда полную противоположность: она могла по целым часам беседовать с товарищами, а я тяготилась встречами с ними и чувствовала непреодолимое стремление бежать от них. Часто я жаловалась Людмиле на тягостное чувство, которое испытывала от разговоров, которые казались мне совершенно никчемными. Я привыкла быть одной и хотела молчать. Но Людмила всеми силами старалась убедить меня в необходимости бороться с этим настроением; она находила его болезненным, ненормальным и убеждала, что понемногу оно пройдет. Сколько раз она уговаривала и ободряла меня, стараясь облегчить мне возврат к общению с людьми! Ее здравомыслию и дружеской поддержке я немало обязана тем, что в конце концов вышла из состояния, которое нельзя назвать иначе, как одичанием.

При Кореневе, в декабре 1891 года, в Шлиссельбург привезли Софью Гинсбург и по распоряжению департамента полиции, чтоб изолировать от нас, поместили в одной из камер старой тюрьмы, а мастерские, помещавшиеся в последней, на время закрыли под предлогом ремонта. Но Гинсбург только 38 дней могла вынести суровые условия такого заточения. Соседство со Щедриным, страдавшим припадками буйного помешательства и находившегося неподалеку от нее, делало ее положение особенно мучительным. 7-го января 1892 г. она зарезалась ножницами, которые ей давали для шитья белья.

О ее нахождении в старой тюрьме мы не имели ни

малейшего подозрения, а о ее самоубийстве узнали много лет спустя. (См. «Былое» № 15, заметка Николаевского).

В ряду лиц, в течение 20 лет сменявших друг друга в должности начальника Шлиссельбургского жандармского управления и коменданта нашей крепости, Гангарт, назначенный после Коренева, несомненно занимает совершенно особенное место. Если имя Читинского коменданта Карпинского, облегчавшего участь декабристов, перешло в историю, как и имя доктора Гааза, этого друга обитателей Московской Бутырской тюрьмы, то имя Гангарта по праву может занять место наряду с ними. Кроме того, что было добыто для нас жертвенными порывами Минакова, Мышкина и Грачевского, а затем получено, благодаря нашим собственным общим усилиям—всеми крупными улучшениями нашей жизни мы были обязаны Гангарту. Это он отклонял от нас мстящую руку департамента полиции и министерства внутренних дел. Он понимал, что лишение свободы, отрешение от деятельности, потеря всех родственных и дружеских связей—такая суровая кара, которую с трудом может переносить человек, и прибавлять к этому еще что-либо будет уж через меру. А что по отношению к нам, Народовольцам, реакционные заправилы внутренней политики руководились местью—сомненья быть не может. Даже Николай 1-й не умерщвлял своих узников голоданием, не сводил их в могилу путем медленного физизического истощения, как были сведены в нее все те, о ком упомянуто в начале этой книги. Они были мстительны, эти Дурново и Плеве, на глазах которых происходила борьба «Народной Воли» против самодержавия, и никогда не забывали участия и роли каждого из нас в этой борьбе.

Тотчас по вступлении в должность, Гангарт не мог не заметить оконцев, прорубленных в заборах; но вместо того, чтобы уничтожить их и восстановить изоляцию, он оказал нам великую услугу. Не желая прибегать к репрессиям и насильственными мерами отнимать завоевание, которое мы сделали, благодаря слабости и недосмотру администрации Коренева, он съумел вырвать у департамента полиции разрешение заменить верхнюю часть сплощ-

ных заборов деревянной решеткой. Дипломатически ссылаясь на недостаток света в огородах, затененных со всех сторон крепостной стеной и высокими заборами, он получил санкцию льготе, приобретенной захватным способом и имевшей громадное значение для нашей внутренней жизни. Сделав в столярных мастерских помосты и поместив их в огородах у заборов, мы, стоя на них, получили возможность не только свободно видеть и говорить друг с другом, но и заниматься втроем или даже впятером, помещаясь в двух или трех смежных клетках. Можно было слушать чтение вслух соседа, как делала я, находясь рядом с Новорусским и Морозовым, или устраивать лекции для пяти слушателей, как об этом рассказано в главе «Чатокуа». Это была настоящая революция в нашей жизни. При Гангарте, не в пример тем избиениям, которые происходили в первое пятилетие, когда комендантом был Покрошинский, ни один жандарм не смел тронуть нас пальцем—таков был приказ Гангарта, как он сам в присутствии жандармов говорил нам.

При Гангарте число мастерских было увеличено настолько, что все, кто желал, мог работать ежедневно. В это время и я с Людмилой пожелали заниматься столярным ремеслом и получили по мастерской.

При нем же были приобретены два превосходных токарных станка, а затем он выхлопотал право делать нам заказы и оплачивать их. Так наши самоучки: столяры, токари, а позднее слесаря стали иметь заработок, который можно было употреблять на улучшение питания, а позднее, благодаря тому же Гангарту, на приобретение книг для библиотеки—что было счастьем.

При Гангарте были организованы и две переплетные и кто, как не он, стал под благовидным предлогом снабжать нас чтением, часто очень хорошим, отдавая в переплет книги, а потом и журналы.

Через два или три года после поступления к нам, он ввел в наш обиход самоуправление ввиде старостата, что избавляло нас от ежедневных личных сношений и множества столкновений со смотрителем и жандармами.

Благодаря его отзывчивости, хоть кратковременно,— всего каких-нибудь два-три месяца—мы пользовались книгами из Петербургской вольной библиотеки и, благодаря ему же, абонировались в Подвижном Музее учебных пособий, как о том рассказано в главе «Материнское благословение».

Было бы слишком долго перечислять все другие, более мелкие, случаи, в которых Гангарт проявлял участие к нашим нуждам и гуманность при всякого рода мелких конфликтах с жандармами и неурядицах, которыми чревата тюремная жизнь.

Каким образом удавалось ему так много делать для нас? Зависело ли это от изменения курса внутренней политики во второе десятилетие нашего заточения? Или Гангарт имел такие серьезные связи в департаменте полиции, что мог держать себя самостоятельно и действовать во многих случаях, не обращаясь к высшему начальству?

У нас рассказывали, что он согласился принять должность при условии, что в управлении тюрьмой ему будет предоставлено право применять те меры, какие он найдет нужными. Так или иначе, но для смягчения нашей участи он сделал так много, что нельзя не вспоминать о нем с чувством благодарности, как о человеке, который помог нам выжить и сохранить силы настолько, насколько это было возможно в условиях, независевших от его личной воли.

ГЛАВА XII.

Н. Д. Похитонов [1].

Я упоминала, что среди нас было несколько душевно больных. Щедрин, Игнатий Иванов и Арончик были привезены в Шлиссельбург уже в таком состоянии, в каком заболевшие обыкновенно помещаются в психиатрические

---

[1]) Подробности см. в моей книге „Шлиссельбургские узники“, из которой я беру содержание этой главы.

лечебницы. Конашевич помешался в период, когда наши сношения друг с другом были ограниченные и мы не могли наблюдать развитие его болезни. Но Похитонов?! Похитонов заболел на наших глазах, и мы были свидетелями как первых признаков психоза этого товарища, так и полного распада всего духовного существа его.

Бывший артиллерийский офицер, академик, Николай Данилович Похитонов судился по одному процессу со мной. За полгода до его ареста, я через Дегаева предложила ему взять долгосрочный отпуск или выйти в отставку, чтоб всецело отдаться революционной деятельности, как того требовало тогдашнее критическое состояние дел партии.

Похитонов отказался. Ему, как человеку до некоторой степени скомпрометированному, пришлось бы сделаться нелегальным, а врачи предписывали ему спокойную жизнь, предсказывая в противном случае сумасшествие.

Несмотря на отказ, его товарищ по школе и по организации, Сергей Дегаев, предал его.

Как член военной организации партии «Народной Воли», Похитонов был приговорен к смерти, но по прошению на высочайшее имя—помилован и отправлен в Шлиссельбург.

Образованный и развитой, Похитонов не отличался ни особенной энергией, ни силой характера. Эта была натура мягкая, нуждающаяся в товарищеской поддержке и склонная к эпикурейству: он любил жизнь и все радости ее. Довольно избалованному, без малейшей нотки аскетизма, ему, быть может, было тяжелее, чем кому-либо в Шлиссельбурге; его жизнь там была полна страданья и завершилась катастрофой.

Всем известно, что в тюремном заключении человека сильно поддерживает мысль о товарищах, о том, что они тоже страдают, что делишь с ними одну и ту же участь. Несомненно, в первые годы заточения в Шлиссельбурге та же мысль имела влияние и на Похитонова. Но его в особенности трогала участь женщин, поставленных в столь же суровые условия, как и он. В одной записке ко мне, писанной в 88-м г., он говорит: «Еслиб не ваш пример—жизнь здесь была бы невозможна»...

Так, рыцарское отношение к женщине сказывалось и в каменном мешке, в который мы были заключены.

Рядом с № 21, в котором жил Похитонов, находился Ю. Н. Богданович (№ 22). Это соседство, знакомство с чистой и благородной личностью Богдановича имело тоже свое значение. Позднее ближайшими друзьями Николая Даниловича были: Л. А. Волкенштейн и И. Д. Лукашевич.

Чтение, изучение иностранных языков и физический труд наполняли время Николая Даниловича в Шлиссельбурге. Он стал хорошим мастером, любил токарное, но в особенности, столярное ремесло. Его здоровье до 1895 года было довольно удовлетворительно, так, напр., цынги и кровохарканья у него никогда не было. Человек живого темперамента, он был обыкновенно очень деятелен и предприимчив, и все его тюремные затеи были направлены к тому, чтобы доставить удовольствие Л. А. Волкенштейн, для которой он созидал буфеты и шкафчики, кресла и полочки, шкатулочки, точеные грибочки, вазочки и другие бесчисленные безделушки.

Однажды, на Рождество, он ухитрился устроить для нас даже елку, настоящую елку с разноцветными фонарями и восковыми свечами. Вообще, по части баловства, он был мастер своего дела и в дни именин 16 и 17 сентября проявлял виртуозность, свидетельствовавшую о большой опытности. Задолго до этих дней все мужское население тюрьмы облагалось налогами и добровольно постилось: собирался сахар, копились: масло, рис и селедки. Из огородов брались наилучшие овощи, срывались грибы, если они появлялись на гнилушках, и т. д. Затем все это перерабатывалось импровизированными поварами по строго обдуманному плану. Похитонов брал кусок цветной папки, рисовал толстых купидонов, трубящих в рог, и четким почерком писал меню. Это был длинный перечень всевозможных и невозможных блюд, название которых новичок никак не мог бы воспроизвести. К сожалению, такой лист, долго хранившийся, как воспоминание о кулинарном творчестве, не мог выйти из стен крепости, чтобы найти себе место здесь. Там морковь называлась непременно «carrotte», а репа «rave»; были

entremets и dessert, и по всему было видно, что автор не только читывал карту кушаний в ресторанах, но частенько пользовался ею и на практике... Так устраивалось, то, что департамент полиции, быть может, и не иронически, называл «фестивалями»...

Но среди работы и тюремных развлечений тоска, повидимому, не переставала грызть Похитонова. Так, однажды, должно быть в 94 г., он явился на прогулку весь сияющий, с широкой улыбкой на губах и радостным огоньком в глазах. «Что с вами?»—спрашивают товарищи; а он, прижимая руку к груди, со смехом отвечает: «Сейчас доктор исследовал меня и говорит, что у меня «начинается!..» Он разумел чахотку.

В другой раз, по разсказу Лукашевича, у Похитонова, относительно еще здорового, вырвались слова, что он «покончит с собой», что «так жить нельзя»...

Похитонов сошел с ума. Для ненаблюдательного глаза это совершилось почти внезапно. Можно определить даже число, когда в тюрьме впервые осмелились громко сказать: «Похитонов сошел с ума». Это было 10 или 11 сентября 1895 г. В действительности же психиатр открыл бы в нем признаки душевной болезни еще года за два, если не больше. Дело в том, что нравственный облик Похитонова стал уже давно явственно изменяться. Мягкий и уступчивый, он начал выказывать запальчивость и необычайное упрямство. Разные мелочи, сами по себе не стоящие внимания, часто приобретают в четырех стенах тюрьмы громадное значение. Там, как нельзя более, приложимы слова Л. Н. Толстого, что нет на свете мелочи, которая не разрослась бы до громадных размеров—стоит только сосредоточить на ней внимание». Многие выходки Похитонова объяснялись ложно, именно с этой точки зрения, и получили совершенно иное толкование в более поздний период, когда свет разума в его голове совсем погас.

Тяжело было видеть, как психическая деятельность человека разлагается. Летом 95 г. Н. Д. предложил товарищам заниматься математикой и был очень рассержен, когда, после нескольких уроков, пришлось отказаться от предло-

жения их, потому что в его изложении решительно не было возможности что-нибудь понять. В другой раз, он пригласил нескольких человек выслушать его доклад об экономическом положении России. Это был небольшой реферат, составленный по «Вестнику финансов» и состоявший из самого дикого панегирика тогдашнему министру финансов— Витте. Этот доклад, по существу совершенно бессодержательный, находился в таком противоречии с экономическими и демократическими взглядами революционера, что вызвал крайнее недоумение в слушателях.

В летние месяцы того же года у него вырывались вопросы: «Верите ли вы в спиритизм?»—Нет.—«А я верю... вчера ко мне приходила мать... Нет, нет! Я не должен говорить об этом».

Через некоторое время опять он заговаривал о спиритических духах и снова обрывал себя, видимо, сознавая, что это больные идеи, и надо бороться с ними.

Около 14—15 сентября вся тюрьма уже единогласно и открыто признала, что Похитонов погиб. С этого времени, он. можно сказать, перестал уже быть в правильном общении с остальной тюрьмой. Он не выходил на прогулку, лег в постель и объявил, что болен. Перестал менять белье, умываться и начал посылать то тому, то другому записки жалобно-просительного характера насчет чего-нибудь съестного. А то учинял сбор различных продуктов и, образовав, из них отвратительную смесь, раздавал по камерам. Целый день у него горела дурно заправленная керосинка, чада которой он не замечал, и часто появлялся с лицом не чище трубочиста. Из его камеры постоянно слышался стук какой-то беспорядочной шумной работы: он забирал, где можно, столярные инструменты, без толку колотил ими по доскам, после чего эти инструменты, например, стамезки, оказывались сломанными. Он перепортил таким образом все, что у него было в камере: рубил направо и налево, ломал и рвал, не щадя даже карточек своих родных. Иногда, потребовав, чтобы его отперли, он выходил в общий корридор с пустой наволочкой на плече и обходил всех, подходя к двери каждой камеры и распевая деланным, дре-

безжащим голосом, на подобие калик перехожих: «Подайте милостыньку, Христа ради». При этом он приоткрывал так называемый «глазок» в двери и заглядывал внутрь. Электрический свет камерной лампочки падал и, отражаясь из глубины его глаза, производил жуткое впечатление: из глаза исходил пучек сверкающих лучей и, кроме неестественного ослепительного блеска, в нем нельзя было уловить никакого выражения. А надтреснутый странный голос из-за двери монотонно тянул: «Милостыньку... милостыньку, Христа ради»...

Жандармы держали его доселе на общем положении, рядом с здоровыми, полубольными и больными: все одинаково должны были терпеть. По требованию его выводили, как и всех других, в корридор, если он хотел облиться водой в ванной или подойти за чем-нибудь к двери соседа. В мастерские, которые тогда находились в старой тюрьме, он не ходил. Кажется, он просто забыл о их существовании, а может быть жандармы сами перестали водить его.

В это время он очень много говорил и еще более писал на темы о способах добыть громадные деньги для революционного дела. Целую кучу беспорядочно нарванных листов бумаги, небрежно исписанной карандашом, он посылал то одному, то другому, требуя самым настойчивым и даже задорным образом отзыва и притом, конечно, хвалебного. Так, однажды, и я получила целый ворох таких листов. Относясь добросовестно к задаче, я внимательно прочла весь манускрипт. Тут были всевозможные, безо всякой связи между собой, проекты получить миллионы, куда миллионы! Биллионы и триллионы на дело революции, и притом самым простым способом. Из всей кучи нелепых планов я помню одно предложение, касавшееся весьма выгодного приготовления рамок для портретов. Николай Данилович предполагал делать их посредством штампа, накладываемого на доску. Один, два удара—и рамка готова, и за каждую можно взять 20 коп. Дальше, высчитывалось, как в самое короткое время можно наделать таких рамок бесчисленное множество и получить миллионы, тысячи миллионов рублей. Голова кружилась от несметных и так легко доступных богатств.

Все население тюрьмы, измученное проявлениями болезни Похитонова, скоро пришло в крайне нервное состояние. Все ждали, что вот-вот сам он сделает что-нибудь непоправимое, или с ним сделают что-нибудь ужасное. И, казалось, нет выхода из этого положения, потому что, кроме Похитонова, в тюрьме уже несколько лет томились психически больные: Щедрин и Конашевич... Умные и энергичные прежде, а теперь—один страдающий манией величия и устраивающий шумные сцены, а другой—весь день фальшивым голосом распевающей: «Красавица! Доверься мне!», а в промежутках пишущий удивительное сочинение «Компонат», где на протяжении множества страниц была единственная разумная фраза, которая могла бы вырваться из глубины и не омраченной души: «Господи! Когда же кончится эта каторга!!».

Однажды, среди этого напряженного выжидания, произошел инцидент, который мог иметь кровавую развязку. Когда мы почти все были в старой тюрьме, в мастерских, причем заперты были только Л. А. Волкенштейн и я, двери же остальных мастерских были отперты [1]), внезапно из новой тюрьмы явился взволнованный Мартынов и заявил, что жандармы бьют Похитонова. Моментально в корридоре собралась толпа, возмущенная, негодующая. Поднялся шум, крик и угрозы по адресу жандармов. Их было человека 3—4, и одним из них был Гаврюшенко, прозванный нами бурханом. Начались пререкания: жандармы распинались, что ничего подобного быть не может, а Мартынов уверял, что ошибиться он не мог.

С особенной энергией защищался Гаврюшенко и, между прочим, на упреки, что бить больного позорно, сказал: «Да разве же на нас креста нет?!» На это Янович, очень горячий и нервный, задыхаясь, крикнул: «Вы—подлец!». В ту же минуту обиженный изо всей силы дернул звонок, проведенный в кордегардию, и запер решетчатые ворота, отделявшие корридор от прихожей. Не успел никто опом-

---

[1]) Беспрестанное отпирание и запирание дверей то за тем, чтобы взять доску, то, чтоб передать клей—так измучили жандармов, что они перестали запирать мастерские мужчин.

мниться, как послышались поспешные шаги, и у решетки появились солдаты с ружьями наперевес. Наступил решительный момент, когда из-за решетки могли засвистать пули. Н. С. Поливанов, отличавшийся крайней, совершенно болезненной вспыльчивостью, когда он не помнил, что творит, побежал в мастерскую и схватил топор, конечно, чтобы защищаться и рубить жандармов, бывших среди нас. Но Василий Иванов, в мастерскую которого прибежал Петр Сергеевич, успел задержать его и вырвать опасное орудие.

В то же время появление вооруженных солдат отрезвило Гаврюшенко и он отправил их назад.

Эта история не вызвала никаких репрессий: только Мартынов за распространение ложных слухов был на три дня лишен прогулки.

После этого случая комендант Гангарт, понимая причину общего возбуждения, обещал, вместе с доктором Безродновым, хлопотать об увозе Похитонова.

Вся эта история, конечно, не подействовала успокоительно на наши нервы, и дальнейшее пребывание Похитонова в общей тюрьме стало казаться невыносимым даже и самой жандармерии. Доктор Безроднов обнадеживал, что высшее начальство согласится поместить Н. Д. в психиатрическую лечебницу, а в ожидании этого предлагал перевести его на жительство в старую тюрьму, где Похитонов не мог уж никого беспокоить. Но перспектива оставить душевнобольного в полном одиночестве, в совершенно изолированном здании, на произвол наших добрых знакомых—избивателей 80-х годов, у которых не могли же развиться гуманные чувства на их собачьей службе—казалась нам ужасной. Обсудив дело, тюрьма решила, чтоб кто-нибудь из товарищей сопровождал туда Похитонова и жил там в качестве свидетеля, служа порукой, что над больным товарищем не будет производиться никаких насилий. Это было тем более необходимо, что болезнь быстро прогрессировала: мания величия, религиозный бред, припадки буйства и стремление к самоубийству переплелись в самую острую и угрожающую форму сумасшествия, когда для обуздания припадков уже нельзя было не прибегать к физической силе. А известно,

что и на свободе нередко происходят в таких случаях отвратительные злоупотребления, когда грубые и злые сторожа, потеряв терпение, ломают ребра и разбивают головы своим пациентам. Выбор пал на И. Д. Лукашевича, который всегда был в наилучших отношениях с Николаем Даниловичем. Эта дружба, наряду с мягкостью и физической силой Иосифа Дементьевича, казалась наилучшим условием для человека, который должен был видаться с больным и служить посредником между ним и жандармами в случае каких-нибудь конфликтов или невыполнимых требований.

Тюремная администрация одобрила этот план, так как он обеспечивал общее спокойствие: верить жандармам мы не могли, а Лукашевич мог на прогулке передавать в тюрьму самые точные сведения о состоянии больного и об обращении с ним.

В старой тюрьме болезнь Похитонова пошла быстрым шагом. Его мучили галлюцинации и он делал беспрестанные попытки к самоубийству, требовавшие неусыпного надзора. Он то пел псалмы, то неистово кричал и впадал в буйство. Обращаясь к Лукашевичу, которому дозволяли входить к нему, он заклинал Иосифа Дементьевича именем его матери и умолял размозжить ему голову. В бреду он говорил, что Господь Бог во всем великолепии снизошел на землю и на ней водворилось царствие Божие; возмутительно, бесчеловечно удерживать его здесь, в юдоли слез, стенаний и вечных мук, когда он может воссоединиться с отцом и дорогими родными и пребывать в вечном блаженстве и чистейшей радости. Скоро круг понимания стал у него съуживаться и он перестал осмысливать окружающее; речь становилась бессвязной и состояла из бессмысленного набора слов. Его безумные порывы были так часты и так остры, что держали в страшном напряжении нервы Лукашевича, доктора и жандармов. Положение сделалось, наконец, совершенно нестерпимым и департамент уступил: доктор Безроднов выхлопотал разрешение перевезти Похитонова в Петербург.

Когда Лукашевич сообщил Похитонову о предстоящем отъезде, он не мог усвоить этого, хотя понял, что ему

предстоит что-то хорошее. Это хорошее представлялось ему то ввиде несметного количества миллиардов рублей, которые стекаются к нему отовсюду, то ввиде поклонения, которое воздадут ему все живущие и раньше жившие цари и короли; то ввиде того наступления царствия божия, о котором он все время бредил. При мысли об этом царствии он пришел в такой экстаз, что не хотел ждать и просил дать ему тотчас же топор, чтобы раскроить череп всем окружающим—тогда все сразу очутились бы в раю.

...5-го февраля 1896 г. из верхних окон новой тюрьмы был виден неподалеку от квартиры доктора черный возок. В одну минуту разнеслась весть, что Похитонова увозят. Его сопровождал доктор Безроднов, который всегда был другом заключенных. Переодетый жандарм сидел на козлах.

Итак, 12 лет назад Николай Данилович вступил в Шлиссельбургскую обитель молодым привлекательным человеком с любознательным и развитым умом, с живым и деятельным темпераментом. А теперь его увозили и даже обещали показать родным—в каком виде?! Это не был уже человек—разум погас, логика исчезла: ни мысли, ни чувства, ни даже правильных инстинктов. В Петербурге его поместили в Николаевский военный госпиталь, в психиатрическое отделение.

Но Похитонов пробыл там недолго: в том же 1896 году он умер. И хорошо, что последние дни его жизни прикрыты занавесом для тех, кто его любил, для его товарищей по борьбе за свободу и страданиям за нее.

ГЛАВА XIII

Выходят.

«Отсюда выносят, а не выходят!» сказал один сановник при посещении нашей крепости. Действительно, многих, очень многих вынесли; но в тюрьме были не только осужденные на каторгу без срока—*вечники*, как их окрестил руский народ, были и осужденные на срок, и в свое время они покидали нас.

Первым, далеко не кончив срока, вышел флотский офи-

цер—Ювачев, судившийся по одному процессу со мной. Привлеченный Ащенбреннером к военной организации Народной Воли, Ювачев принадлежал в г. Николаеве к группе морских офицеров, которые пугали гораздо более солидного Ашенбреннера стремительностью революционной пропаганды, которую они вели среди моряков.

На суде Ювачев не производил определенного впечатления и отрицал, какое бы то ни было, участие в революционной деятельности партии. Однако, как и других военных, его приговорили к смертной казни, но, после подачи прошения о помиловании, смягчили наказание до 15 лет каторги.

Вскоре по прибытии в Шлиссельбург, он стал выказывать болезненный уклон в сторону религиозной экзальтации. В попечении о наших душах начальство выдало каждому из нас по Библии и Ювачев, стоя целые дни на коленях, читал ее, или молился; по средам и пятницам по воле тюремной администрации мы были принуждены соблюдать пост, но, не удовлетворяясь этим, Ювачев в эти дни совсем не принимал пищи.

В январе 1885 г., когда после истории с Мышкиным, крепость посетил товарищ министра внутренних дел, элегантный Оржевский, он застал Ювачева, стоящим на коленях с Библией в руках. Осведомленный, конечно, начальством, генерал задал Ювачеву вопрос: не желает ли он поступить в монастырь? «Я не достоин», ответил Ювачев.

Политические убеждения Ювачева за год заточения совершенно изменились: из борца, завоевателя свободы насильственным путем, он превратился в миролюбца в духе Толстого. Когда Буцевич, товарищ Морозова по прогулке, умер, его заменили Ювачевым, и Ювачев советовался с Морозовым, не должен ли он, согласно изменению своих убеждений, довести до сведения правительства об одной тайне, известной ему, как революционеру: дело шло об указании места, из которого легко было сделать покушение на жизнь императора Александра III.

Отец Ювачева принадлежал к числу служащих в Аничковом дворце и имел в нем квартиру, из окна которой с

величайшей легкостью можно было бросить бомбу в экипаж Александра III, при выездах из дворца.

Стоит ли говорить, что Морозов отклонил Ювачева от этого поступка.

Религиозная экзальтация, обращение к церкви были, как нельзя более, на руку ханжам департамента полиции, скорбевшим о безверии политических узников, и они охотно вывезли новообращенного из Шлиссельбурга. Это произошло в 1886 году, т.-е. через 2 года после суда над ним.

Позднее, как подслушал кто-то из товарищей, жандармы уверяли, что в Петербурге, в Доме предварительного заключения, Ювачева посетила вдовствующая императрица, Мария Федоровна. Конечно, это был вздор, и за императрицу, вероятно, сошла фрейлина Нарышкина, княжна М. М. Дундукова-Корсакова или какая-нибудь другая высокопоставленная светская дама из числа тех, которые в Петербурге посещали политических заключенных с целью вернуть их в лоно православия.

Ювачев был сослан на остров Сахалин. Местная администрация широко пользовалась его техническими знаниями морского офицера, и эти занятия давали ему возможность в разных местах и случаях наблюдать жизнь ссыльно-поселенцев и отношение властей к этому обездоленному люду, лишенному всех человеческих прав.

Случилось, что в 90-х годах комендант Гангарт, однажды, дал нам для переплета «Исторический Вестник» за истекший год. Там, в статьях за подписью Миролюбова, в котором нетрудно было угадать Ювачева, мы нашли талантливое описание жестокой жизни ссыльных на Сахалине. Нельзя было без содрагания и нравственного ужаса читать мрачную повесть физических и моральных страданий, которым подвергались каторжане на этом проклятом острове.

Людмила Александровна Волкенштейн, попавшая на Сахалин десять лет спустя, отказывалась подавать руку истязателям уголовных каторжан. К нашему прискорбию, из статей Миролюбова мы не могли видеть, чтоб у него хватало мужества на подобный протест. Между тем, дрожь негодования пробегает, когда читаешь незабываемое опи-

сание завтрака, на который автор был однажды приглашен одним из злодеев-администраторов.

В столовой был сервирован стол со всевозможными яствами, а на дворе происходила жестокая экзекуция, которую можно было наблюдать из окон гостеприимного хозяина.

Справедливость требует сказать, что Миролюбов не мог есть, слыша крики истязуемого.

По возвращении в Россию, Ювачев сделался членом официального тюремного комитета в Петербурге и заведывал «убежищем св. Магдалины», в котором наводили на путь истинных девушек, опустившихся на дно жизни.

В 900-х годах он напомнил о себе, выпустив книгу о Шлиссельбурге, в которой, пробыв в крепости только *два* года, пишет о том, знать о чем лично он не мог.

Следующим выходцем из Шлиссельбурга был *Василий Андреевич Караулов*, осужденный в 1884 г. в Киеве на 4 года каторжных работ по народовольческому процессу «12-ти». Он состоял членом того Комитета, который был образован в 1883 году в Париже эмигрантами: Львом Тихомировым и Ошаниной. Кроме него в Комитет входили: Лопатин, Салова, Сергей Иванов и Сухомлин, находившиеся, как и он, за границей. Когда они приехали в Россию, к ним присоеиднился Якубович-Мельшин, но меньше чем через год, один раньше, другой позже, все названные были арестованы и их политическая деятельность была кончена. То была одна из безнадежных попыток восстановить центральную организацию «Народной Воли» после того, как весь Исполнительный Комитет первого состава уже сошел с арены политической жизни, и с 1883 года в партии, в самом сердце ее, действовал предатель и провокатор Сергей Дегаев.

Осужденный в ноябре, Караулов был через месяц привезен в Шлиссельбург вместе со своими сопроцессниками, Шебалиным и рабочими: Мартыновым и Панкратовым.

Находясь на воле, в 1881 г., я раза два встречалась в Петербурге с Карауловым: это был, как говорится, ражий детина—громадного роста, широкоплечий, жизнерадостный,

с лицом—кровь с молоком. Между тем, в крепости, в течение всех четырех лет, он непрерывно хворал: у него были легочные кровотечения и не раз он был на краю могилы. В силу болезни, а быть может в силу краткосрочности наказания, которая давала надежду на выход, Караулов вел себя тихо и незаметно. Он не участвовал ни в борьбе за стук, ни в пассивном протесте по поводу совместных прогулок и во все время не имел никаких столкновений с начальством. Не ручаюсь за достоверность, но товарищи, его соседи, утверждали, что, обращаясь к смотрителю, он говорил: «ваше благородие», чего не делал никто и что даже не требовалось.

Когда в 1886 году увезли Ювачева, вместо него Морозову в товарищи по прогулке дали Караулова и они очень подружились: есть даже стихотворение, которое Морозов посвятил Василию Андреевичу.

В 1888 году, перед выходом Караулова, мы стали давать ему маленькие поручения, прося дать весточку нашим родным. Я продиктовала ему свое стихотворение «К матери», которое он обещал заучить и отослать по почте. Но к нашему удивлению, ни одно из поручений не было исполнено, хотя Караулов жил в таком сравнительно большом городе, как Красноярск, и жена его, урожденная Личкус, служила врачом и была лично знакома со мной и некоторыми другими товарищами. Объяснения этому у нас искали в темных слухах, будто при отъезде Караулову угрожали возвращением в крепость, если он проронит хоть слово о комнибудь из нас. Сам он, много лет спустя, печатно опровергал это, говоря, что никаких угроз не было.

В заточении политические убеждения Караулова не устояли: в 1-ю Государственную Думу он баллотировался в качестве кандидата партии кадетов. Он уж не стоял за всеобщее избирательное право, которого требовала «Народная Воля»: по его новому воззрению народ не дорос до пользования этим правом, а его отношение к аграрному вопросу, этому центральному пункту нашей программы, определяется буржуазными требованиями той партии, которая выставила его кандидатуру.

В Думе Караулов был заметной фигурой и заслужил общее уважение в качестве горячего и талантливого защитника свободы вероисповедания. Смело и ловко отпарировал он название «каторжника», которое черносотенцы бросили ему в Думе. «В том, что вы заседаете в этом зале, есть и моя капля крови», крикнул он им в ответ. И это была правда, и не одну, а много капель отдал он за народное представительство, за которое боролась «Народная Воля».

Этот брызжущий здоровьем атлет вышел из Шлиссельбурга с лицом покойника, как о том свидетельствует снятая тогда фотография, подаренная мне в 1918 г. его сестрой.

В Сибири он поправился и умер в 1907 году. Старообрядцы, признательные за защиту свободы веры, прибили к кресту на его могиле в Петербурге медную доску с соответствующей надписью, но самодержавное правительство не могло потерпеть этого и приказало уничтожить надпись. Медную доску обернули другой стороной: не знаю, догадались ли после революции 1917 года восстановить этот маленький памятник заслугам человека, который отдавал свою жизнь за свободу.

После 1888 года наступил долгий перерыв, когда ни к нам не привозили, ни от нас не увозили никого. Правда, в 1890 году должны были увезти Лаговского.

Трагична судьба этого человека. Нас всех судили— форма была соблюдена, а он попал в Шлиссельбург даже без суда и был заключен в крепость административным порядком по распоряжению министра внутренних дел и ни больше, ни меньше, как на 5 лет.

Пехотный офицер, сосланный в 1883 году административно в Томскую губернию, он бежал, примкнул к партии «Народной Воли» и в марте 1884 г. был арестован в Петербурге на улице. У него был найден рецепт нового взрывчатого вещества и этого было достаточно, чтоб без суда в октябре 1885 года он был водворен в нашу крепость [1].

---

[1] См. биографию М. Ф. Лаговского: „Галлерея Шлиссельбургских узников" Пб. 1907 г.

Маленького роста и незначительной наружности, он не обладал ни даром слова, ни той обаятельностью, которые делают из человека агитатора-пропагандиста, ловца людей; и совершенно непонятно, почему такая тяжелая кара пала на человека, не имевшего никаких серьезных данных для того, чтобы правительство считало его особенно опасным.

Все же нельзя сказать, чтоб Лаговский был лишен дарований и после того, как в 1887 году нам дали бумагу, он во множестве писал стихотворения.

Первые два года пребывания в крепости он вел себя незаметно, но осенью 1887 года, еще при первом смотрителе Соколове, попал за стук в старую историческую тюрьму и находился в ней в то время, когда произошло самосожжение Грачевского. Затем последовали многочисленные столкновения его с новым смотрителем — Федоровым, и всегда по пустым поводам. Окно его камеры в нижнем этаже приходилось, как-раз, против огородов. Лаговский ухитрялся прыгать на подоконник, расположенный на высоте его роста и, уцепившись за раму, открывал форточку в верхней части окна. В то время в тюрьме существовала строгая изоляция: видеть друг друга могли те, которые гуляли в паре, и Лаговскому хотелось видеть других товарищей, гулявших в огородах против его окна. Никакие запреты и выговоры не могли удержать его от этих проделок: за них его уводили в карцер; надевали смирительную рубашку и, однажды, связанного, с такой силой бросили на пол, что он в кровь разбил себе лицо. А он все упорствовал и мелкими стычками создавал себе врага в смотрителе.

Наступил день, когда пятилетний срок его кончился. Не он один—все мы, как будто дело шло о нас самих, были точно в лихорадке, колеблясь между надеждой и опасением: выйдет Лаговский на свободу или нет?

В определенный день и час в его камеру вошел комендант; в его руках была бумага—он прочел ее: министр внутренних дел оставлял Лаговского за «дурное поведение» еще на 5 лет в Шлиссельбурге.

...Прошли и эти пять лет.

Лаговского выпустили.

У него была мать и сестра, которую он особенно нежно любил. Он долго не мог разыскать их: *во все 10 лет он не имел о них ни одного известия*,— переписки в то время мы не имели.

Лаговский был сослан сначала в г. Каракол (Пржевальск), а затем в 1898 г. он перебрался в Саратовскую губ. и последнее время жил в г. Балашове.

29 мая 1903 года он утонул, купаясь в Хопре.

Что сталось со всеми его стихотворениями—я не знаю. В печати я видела только: «Знамя» и стихотворение: «Что ни день—ноет сердце больней», помещенные в сборнике «Под сводами», изданном под редакцией Морозова в 1909 г. в Москве.

Еще за год до выхода Лаговского кончилась десятилетняя каторга одного из наших любимых товарищей—Ованеса Манучарова, которого для краткости мы звали просто «Ман».

При аресте в Харькове Манучаров оказал вооруженное сопротивление не для того, чтоб убить полицейского, а для того, чтобы шумным фактом предупредить друзей и товарищей о засаде, которая могла быть устроена в квартире.

В Харьковской тюрьме он выказал такую ловкость, что ухитрился бежать, но был пойман и после суда попал в 1884 году к нам.

Армянин по происхождению, он не отличался ни образованием, ни особенно выгодными внешними качествами, но трудно было найти человека более любящего и добродушного. Справедливый, чуткий и терпимый к чужому мнению, он был лучшим товарищем, какого только можно было желать в трудных тюремных условиях нашей жизни; внимательный к интересам каждого, терпеливый в личных отношениях, он часто бывал незаменим. В 90-х годах комендант Гангарт ввел у нас выборных: старосту для сношений по нашим нуждам с тюремной администрацией и библиотекаря, который распределял между нами те книги, которые попадали к нам для переплета и в библиотеку. Гангарт пре-

доставил нам также составлять недельное расписание кушаний и прогулок: кому с кем и где быть в мастерских, в огородах и в «клетках». Последних двух выборных мы называли: «менюмейстером» и «променадмейстером». На эти-то две щекотливые должности мы неизменно выбирали Манучарова, и тут наш Лорис-Меликов выказывал все свои блестящие качества. Дело было деликатное: надо было угодить всем и каждому, примирить вкусы и требования 27—28 человек, вкусы иногда совершенно непримиримые и требования самые разноречивые. На расписании кушаний один писал: «кисель обожаю», а другой заявлял: «терпеть не могу этого клейстера». Относительно прогулки на одно и то же место, в одно и то же время претендовало 2—3 человека. Как тут быть? «Ман» с великим нелицеприятием и часто в ущерб своим личным интересам ухитрялся выходить из положения к общему удовольствию. С полной уверенностью можно сказать, что никто другой не сумел бы этого делать, а он удовлетворял все претензии и улаживал все конфликты.

Ко всем нам Манучаров был так привязан, что не хотел покидать нас, когда наступил конец его заключению, и только заявление Гангарта, что его уведут силою, заставило его подчиниться неизбежному.

Сосланный в Сибирь, он женился, но уже в 1909 году умер от разрыва сердца, оставив маленького сына.

Через год или два после выхода Манучарова, в одной из книжек «Русского Богатства» за 96 год, которую дал Гангарт, я неожиданно нашла свое стихотворение:

Расскажи мне, мой милый, мой любящий друг,
Почему, когда солнце сияет,
И тёпло, и светло все вокруг,
Чувство грусти мне сердце сжимает?
Почему этот чистый лазоревый свод,
Что лелеет глаза синевою,
Лучезарной красою гнетет,
Вызывает страданье глухое?
Почему под живительным, внешним лучом
В отупении, в позе усталой
Я склоняюсь печальным лицом,
Без движенья, в апатии вялой?

Почему поскорее уйти я спешу
От весны, от лазури небесной
И как-будто бы легче дышу
В моей камере душной и тесной [1])

Я перевернула страницу—на ней был ответ:

Когда мучительно и больно
Сожмется грудь тоской,
Когда твой взор блеснет невольно
Горячею слезой,
Челом склонившись к изголовью,
Подумай в тишине,
Что помнят о тебе с любовью
В родимой стороне.
В минуты горести суровой
Надеждою живи:
Воскреснешь ты для жизни новой,
Для близких и любви.
Не все мечты твои разбиты,
Не все погребено.
И знай, мой друг, грозой сердитой
Не все сокрушено.
Рок не всегда грозит бедою,
Не вечно длится ночь;
День не далек и пред зарею
Уходят тени прочь.

Под этим стихотворением стояла буква «М».

Михайловский! тотчас подумала я.

Нужно ли говорить, какое до слез радостное волнение охватило меня: из-за стен крепости мой голос дошел до друзей и из-за каменной ограды их слово любви долетело до меня [2]). И эту радость дал мне милый «Ман».

ГЛАВА XIV.

5 товарищей покидают нас.

Следующий выход из крепости произошел в 1896 году, когда от нас сразу увезли пятерых.

В 1894 году на престол вступил Николай II. Его отец

---

[1]) Я передаю это стихотворение в том виде, в каком оно написано мною, а не в том, как Манучаров запомнил и передал в несколько измененном виде.

[2]) В 1918 г. Н. С. Тютчев сообщил мне, что стихотворение написано не самим Михайловским, а по его просьбе Верхоянцем.

кончил жизнь не насильственной смертью, а от болезни. Волна возбуждения прошла среди нас: наверное будет амнистия—быть может, и мы увидим свет. Тюремная администрация была уверена, что Шлиссельбург опустеет. Смотритель Федоров поздравлял нас с близким освобождением. «Скоро барыней жить будете», с приятной улыбкой объявил он мне, думая, повидимому, что лучше этого на свете ничего нет.

Офицер Пахалович, заведовавший в то время мастерскими, выказал по этому поводу такой либерализм, что оставил незапертыми все мастерския. Товарищи-мужчины собрались в самой большой столярной, окружили Людмилу Александровному Волкенштейн и меня, а Шебалин, подхватив сначала одну из нас, а потом другую, сделал бешеный тур вальса. Однако, этой экспансивности был быстро положен конец. Гангарт, сдержанный и лучше осведомленный, не поддался иллюзии и был недоволен поведением Пахаловича. Вольности, в которые тот преждевременно пустился, были прекращены и наше настроение мало-по-малу упало. Не зная ничего о том, что происходит на свободе, произошла ли коронация или нет, и видя, что никаких перемен у нас нет, мы с течением времени перстали чего-либо ждать.

Так прошел год, когда в мае 1896 года крепость посетил министр внутренних дел Горемыкин, подробности о котором рассказаны в главе «Посещения сановников», и так как никакого намека на возможность изменения нашего положения от него не последовало, то в нас укрепилась мысль, что никакой амнистии по отношению к нам не будет.

Но в начале ноября того же года, когда мы находились в старой тюрьме на работе в мастерских, внезапно пришел вахмистр и увел одного за другим несколько лиц и между ними Людмилу, сказав, что их ждет комендант. Все были в недоумении и тревоге, не зная, чтобы это значило. Однако, уведенные скоро возвратились. Они были взволнованы и рассказали, что комендант объявил им, что по коронационному манифесту каторга бессрочная заменена

20 годами Василию Иванову, Ашенбреннеру, Стародворскому и Поливанову, а Панкратову, Суровцеву, Яновичу и Л. А. срок сокращен на одну треть, в силу чего Л. А., Суровцев и Янович должны теперь же выйти из крепости. Частичная амнистия, оставлявшая других товарищей в прежнем положении, не приносила амнистированным радости, а Л. А. встретила ее прямо с гневом: когда мы, обрадованные, что хоть несколько человек выйдут из нашей могилы, бросились поздравлять ее, она не хотела слышать никаких поздравлений и ликований и лишь мало-по-малу примирилась с фактом. Тогда начались спешные приготовления к отправке.

Тяжело было Л. А. покинуть нас после стольких лет общей жизни, полной всевозможных невзгод. Она любила нас и знала, что для некоторых нужна, как свет, как воздух. Нежная заботливость об этих лицах сказывалась много раз в последних ее беседах со мной, когда она просила меня не забывать, что для них ее отъезд особенно тяжел... 23 ноября ее и 4-х других товарищей—Мартынова и Шебалина, 1-летний срок которых, помимо .амнистии, как-раз, тогда кончился, и амнистированных—Яновича и Суровцева—должны были увезти.

Последний час перед отъездом Л. А. провела в моей камере. Все время—она плакала, я утешала. Трогательные слова, сказанные ею на прощанье, были, что в Шлиссельбурге она покидает лучших людей, которых когда-либо знала.

В 1 час дня уезжавших, одного за другим, стали выводить из камер, а потом из тюрьмы. По выходе из тюремной ограды на обширный двор крепости, каждый освобожденный останавливался, чтоб безмолвным жестом выразить нам свое «последнее прости». Из окон камер мы смотрели на их удалявшиеся фигуры. Каждый, обернувшись в нашу сторону, делал низкий поклон; мужчины снимали шапку и махали ею, в знак приветствия, а Л. А., останoвясь два или три раза, махала платком. Мы тоже держали в руках белые платки, которые издали легче было видеть через двойные рамы и решетки наших окон. Мы провожали

взглядом друзей, возвращавшихся к жизни, и в ту минуту казалось, вокруг нас образуется новая темная пустота. Вот они дошли до ворот и скрылись. Для нас они перестали существовать: словно морская бездна разверзлась и поглотила их, и ни одна весточка не должна была сказать нам, что будет с ними дальше?.. Темная неизвестность, как «Слепцов» Метерлинка, всегда и во всем окружала нас...

Отъезд пяти человек из нашей немногочисленной товарищеской семьи не мог не оставить пустоты: Людмила Александровна занимала совершенно особое положение; других, как Шебалина и Яновича, мы высоко ценили за их качества, а Суровцев являлся в нашей среде человеком, единственным в своем роде.

О том, какое значение Людмила Александровна имела для меня лично, было сказано в главе: «Тюрьма дает мне друга», а то место, которое она занимала в жизни других товарищей, описано в ее биографии, помещенной мной в журнале «Былое» после того, как в 1906 году она погибла во Владивостоке при расстреле мирной демонстрации в этом городе [1]). Поэтому теперь надо сказать только о тех четырех, которые оставили крепость одновременно с ней.

1) Литвин по происхождению, *Людвиг Фомич Янович* был членом польского «Пролетариата» и поступил в крепость в 1886 году. При аресте он оказал вооруженное сопротивление и ранил агента тайной полиции. Этого акта трудно было ожидать от человека с такой застенчивой внешностью и сдержанным характером, какими обладал Людвиг Фомич. Среднего роста, с темными волосами и небольшой бородой он имел прекрасные карие глаза, которые поражали своим грустным выражением; еще более подчеркивалось оно общим видом его худощавого лица аскетического типа. Не нужно было много времени, чтоб распознать в нем человека не от мира сего. Сын богатых родителей, помещиков Ковенской губ., он совершенно не знал цены материальным благам. Я думаю, он мог бы по целым дням не есть и не пить, и даже не вспомнить об

[1]) Эта биография появлялась потом в трех изданиях; последнее было сделано „Задругой“ в 1920 году. См. „Шлиссельбургские узники“.

этом, еслибы в установленные часы жандармы через дверную форточку не подавали ему пищи. И никогда он пальцем не пошевелил, чтобы сделать что-нибудь для сохранения своего здоровья в крепости.

Все мы широко пользовались возможностью дышать свежим воздухом, когда переменившиеся условия стали дозволять это, а Людвиг все сидел в своей камере за книгой и ограничивался самой кратковременной прогулкой. Все мы с увлечением работали в столярных и токарных мастерских; физический труд давал нам бодрость и телесную, и духовную. За малым исключением наших стариков, Ашенбреннера и Лопатина, совсем не посещавших мастерских и все время посвящавших исключительно чтению, все мы находили великое удовлетворение в обработке земли и в создании полезных или красивых предметов, выходивших из наших рук. Но Людвиг, если и работал, то лишь в самое первое время, а потом его никогда в них не было видно. Вечное сидение в душной камере не могло не отражаться губительно на его организме. Он был так малокровен и худ, что товарищи говорили, что он страдал пролежнями; но никто не слыхал от него ни слова о его болезненном состоянии и никогда к врачу он не обращался. Чем же он занимался, сидя вечно над книгами? По своим склонностям он был экономист и отдавался с безудержным рвением статистике. Во все 12 лет своего пребывания в Шлиссельбурге он не пропустил ни одной цифры в тех книгах, которые к нам проникали, и при выходе увез с собой большую кипу переплетенных тетрадей, наполненных выписками, таблицами, диаграммами и самостоятельными статьями по экономическим вопросам и в частности по развитию обрабатывающей промышленности России и в особенности Царства Польского. Для меня, не имевшей в голове цифровых данных по статистике России, Людвиг Фомич составил прекрасное руководство из 13 глав, в которых сжато и чрезвычайно выпукло изложил решительно все, что необходимо знать в цифрах каждому социалисту и общественному деятелю о своей родине. Я помню тот подъем настроения, который вызвали эти лекции у меня,

когда в моей памяти, вместо общих положений, встали стройные ряды твердых цифр. По выходе из Шлиссельбурга. по моему предложению, предполагалось издать эту краткую статистику в виде маленькой книжки; и если бы лица, обещавшие дополнить ее позднейшими данными, сделали это, то книга Яновича была бы первым кратким, необходимым для каждого, руководством по статистике России. В сфере научного исследования Янович являлся вдумчивым, осторожным и отличался чрезвычайной добросовестностью и беспристрастием; никогда он не бросал на ветер какихнибудь непродуманных утверждений и критически, но без полемического задора, относился к тому, что иногда писали другие товарищи по его излюбленной специальности.

Вечно погруженный в свои занятия или в размышление, Янович мало принимал участия в повседневных интересах и делах нашей тюрьмы: в этом отношении он, можно сказать, проходил тенью и жил исключительно тем, чем был занят его собственный ум. Среди товарищей он тяготел к тем, кто более других отдавался серьезным занятиям. Не говоря о Варынском, который так рано умер (1889 г.), ближайшим другом его был Лукашевич. С ним, кроме чисто научных и теоретических вопросов, его связывала и национальность—Лукашевич был также литвин. Охотно встречался он также с Морозовым, Новорусским и Шебалиным, со мной и с Людмилой Александровной. Но в общем он не раскрывал другим своей души. А на душе у него, верно, всегда была тяжесть. Случилось однажды, что и я, и он были на прогулке в двух смежных «клетках», в одиночестве; вероятно потому, что ни мне, ни ему не хотелось разговаривать; но, желая узнать, кто со мной рядом, я заглянула в соседний загончик и мгновенно отпрянула. Янович шагал по своей маленькой территории с сжатыми бровями и потупленными глазами; выражение тоски на его бледном лице со впалыми щеками было так сильно и вся фигура выражала такое страдание, что сердце у меня сжалось. И не только в этот раз, но всегда меня удручала и беспокоила печать меланхолии, которая лежала на его лице.

Как от человека необыкновенно чистого и правди-

вого, от него веяло чем-то особенным, я сказала бы, какой-то святостью, отрешенностью от всего мирского и обыденного.

Его сдержанность не допускала тесного сближения, но его уважали все, а мы, которые чаще встречались с ним, нежно любили и навсегда в душе запечатлели его образ.

О конечной судьбе его я упоминала в одной из предыдущих глав, а как я встретила первое известие о ней, будет сказано впоследствии.

2) О Мартынове я уже упоминала, что вместе с Карауловым, Панкратовым и Шебалиным он судился по народовольческому процессу «12» и был осужден на 12 лет каторжных работ. В декабре 1884 г., вместе со своими сопроцессниками, он был привезен в Шлиссельбург, где и оставался до окончания своего срока в 1896 г. В главе «Бумага» было сказано, какую услугу при смотрителе Соколове оказал нам его дневник, а в главе «Голодовка»—как быстро отступил он при этом протесте. В дальнейшей жизни его в крепости у него произошло резкое столкновение со смотрителем Федоровым, очень взволновавшее всех нас. Не довольствуясь прогулкой вдвоем, Мартынов лазил на окно своей камеры, чтобы бросить взгляд на гуляющих в огородах, чего при двойных матовых стеклах наших окон иначе, как через форточку, находившуюся очень высоко, нельзя было сделать. Случилось однажды, что Федоров три раза подряд поймал его на этом. Когда в третий раз он остановил его и стал делать выговор, Мартынов плюнул ему в лицо.

Это было оскорбление действием, которое должно было повлечь предание военному суду и единственное наказание—смертную казнь. Тотчас после того, как его увели в старую тюрьму (что делалось и при менее серьезных столкновениях с тюремной администрацией), Людмила Александровна подняла вопрос о том, чтобы не оставлять его там одного. Это значило—требовать перевода и нас в ту тюрьму.

Это предложение поставило меня в очень затруднительное положение: поступок Мартынова возмущал меня: каков бы ни был смотритель—он был человек, и оскорбле-

ние, нанесенное ему, я считала недопустимым против кого бы то ни было. Мое негодование было так сильно, что я с трудом удержалась от выражения смотрителю сожаления по поводу случившегося; с другой стороны, отстать от товарищей и оставаться в полной неизвестности о том, что будет происходить с ними в старой тюрьме—казалось мне невыносимым.

Но протест не состоялся; суда над Мартыновым не было и у нас объясняли это тем, что Лопатин послал в департамент полиции обширную докладную записку, в которой ссылался на болезненное состояние, в которое по временам впадает Мартынов и будто бы доходит чуть не до припадков эпилепсии.

В старой тюрьме Мартынов пробыл один месяц, закованный в ножные кандалы и лишенный прогулки и книг. Затем все было предано забвению.

3) *Михаил Петрович Шебалин* кончил математический факультет Петербургского университета в 1882 году. Еще будучи студентом, он сочувствовал «Народной Воле» и оказывал партии небольшие услуги распространением революционной литературы, сбором денег и т. п. На квартиру, на которой Шебалин жил у прачки вместе со студентами Лозинским и Недзельским, однажды заходили Гринвицкий и Тимофей Михайлов—наши метальщики 1-го марта; им надо было переодеться перед тем, как отправиться в окрестность Петербурга для испытания разрывных снарядов, как о том впоследствии догадался Шебалин. После 1-го марта на квартире был сделан обыск, вот по какому поводу. Однажды товарищи по квартире устроили вечеринку, на которую хозяйка-прачка пригласила, в качестве музыканта — гармониста, служившего писцом в полицейском участке. На вечеринке не обошлось без споров на политические темы: поспорили Рысаков, бывший на квартире, и один из присутствовавших студентов. Когда после 1-го марта начались усиленные полицейские розыски, гармонист донес, что он видел Рысакова у Лозинского и его товарища: Лозинский и Недзельский, у которого в кармане нашли номер «Народной Воли», были арестованы.

Весной 82 года Шебалин познакомился с Якубовичем, занимавшим в то время центральное место в группе Петербургских Народовольцев, и тот предложил ему нанять квартиру и устроить литографию, чтоб печатать революционные листки. Квартира была нанята на Таврической улице, но скоро ликвидирована, потому что вместо литографии группа Якубовича решила организовать типографию, для чего потребовалась семейная обстановка. В этих целях Шебалина познакомили с Прасковьей Федоровной Богораз, которая должна была креститься, чтобы заключить с Михаилом Петровичем фиктивный брак. Крещение, а затем и бракосочетание совершил священник Аничкова дворца, протоиерей Брянцев, после чего, в конце апреля 83 года, молодая парочка устроила конспиративную квартиру в доме Хрулева на углу Кукушкина моста и Столярного переулка. Прислугой была нанята сначала простая женщина, а потом ее заменила интеллигентная девушка, Марья Павловна Кулябко; в качестве наборщика был приглашен певчий архиерейского хора, который, однако, скоро стал обнаруживать что-то вроде психической болезни, почему и был отстранен от дела. Ни певчий, ни супруги Шебалины, ни Кулябко не имели никакого понятия о типографском ремесле и работали крайне медленно. Зато рвение было большое, и типография энергично выпускала «Листки Народной Воли», издала брошюру «От мертвых к живым», написанную А. П. Корба, листок по поводу похорон Тургенева, где в первый раз было напечатано Тургеневское стихотворение в прозе—«Порог», и др. Сношения типографии с внешним миром вел Петр Алексеевич—псевдоним, за которым скрывался Дегаев, развивавший тогда в Петербурге свою провокаторскую деятельность. В августе или сентябре Дегаев на время исчез—он уезжал за границу, где сделал свое покаяние Тихомирову и Марии Николаевне Ошаниной, после чего они заключили с ним соглашение, по которому ему было обещано, что его жизнь будет пощажена, если он предаст в руки партии своего патрона Судейкина и поможет убить его. С этим решением Дегаев вернулся в Россию и для всех непосвященных в его

тайну — продолжал в Петербурге свою прежнюю жизнь и деятельность.

Той же осенью—рассказывает Шебалин—в Петербурге произошло совещание между польскими и русскими революционерами в лице: Дегаева, Якубовича (Мельшина), Росси (из Киева), Усовой, офицера Степуры и поляков: Куницкого, Дембского и Рехневского. Предметом совещания была программа и план деятельности.

Во время этого совещания Шебалину, непосвященному в измену Дегаева, бросился в глаза маленький инцидент, объяснение которому он нашел лишь после убийства Судейкина в декабре 1883 года.

Случилось, что Куницкий, знавший истинную роль Дегаева, соглашение его насчет Судейкина и впоследствии проводивший Дегаева за границу, стал позади его. Заметив это, Дегаев настолько испугался, что это бросилось в глаза Шебалину; ему, как думает Шебалин, представилось, что Куницкий стал позади, чтоб убить его.

Незадолго до убийства Судейкина, Дегаев стал уговаривать Шебалиных, до тех пор живших под своей фамилией, сделаться нелегальными и уехать из Петербурга, и Михаил Петрович переехал с женой сначала в Москву, а потом в Киев, продолжая, однако, пользоваться своим настоящим паспортом. В Киеве типографские принадлежности, переправленные из Петербурга, а частью увезенные с собой, позволили Шебалиным возобновить печатное дело. Так, сначала была издана прокламация об убийстве шпиона Шкрябы, а затем, за отсутствием литературного материала из центра, было решено издавать *местный* орган под названием «Социалист» (или «Социалист-революционер»). Проспект первого номера был уже набран, когда 4-го марта 1884 г. типография была открыта полицией и Шебалины— арестованы.

Осенью их судили по уже не раз упоминавшемуся процессу «12-ти», причем Прасковья Федоровна была приговорена к ссылке на житье в Сибирь с лишением некоторых прав и преимуществ, а Михаил Петрович получил

12 лет каторжных работ и был отправлен в Шлиссельбург [1]).

Первое полугодие жизни Шебалина в Шлиссельбургской крепости было ознаменовано редкой по своей продолжительности голодовкой. Летом 1885 года он стал требовать, чтоб его отправили в Сибирь и в течение 32 дней не принимал пищи. По его словам, первые дни он испытывал большие страдания, но по истечении 10 суток они исчезли и наступило полное равнодушие. Начальство всячески уговаривало его прекратить это самоистязание. Генерал Оржевский при посещении Шебалина убеждал его в невозможности добиться посредством голодовки перевода в Сибирь и на вопрос, почему вместо каторжных работ к нему применено заключение в крепости, сказал, что это сделано по высочайшему повелению. Чтоб соблазнить голодающего, около него обыкновенно ставили молоко. На тридцать второй день, рассказывает Шебалин, я увидел, что в молоко попала муха, и помню, протянув руки, я вынул ее и бессознательно облизал палец. «Это был конец— я тотчас выпил все содержимое кружки».

Математик по образованию, Шебалин занимался в крепости своей наукой и изучением иностранных языков. Работать в мастерской он начал, как только явилась возможность к этому, и ходил в столярную, когда в мастерския водили еще только через день, и работал по одиночке, а не вдвоем, как это практиковалось позднее. Физический труд, по его словам, доставлял ему большое удовлетворение и благотворно действовал на его нервы. Быть может, вследствие голодовки его нервная система была сильно потрясена и, как я уже упоминала, в его психике одно время замечалось колебание, которое, к счастью, вскоре прошло. Кроме меня, Шебалин, кажется, больше всех страдал от злоупотребления стуком, который происходил не только между соседями двух смежных камер, но и на большом

---

1) Михаил Петрович находил приговор по своему делу по тем временам снисходительным и объяснял это тем, что председатель суда, генерал-майор Кузьмин, был петрашевцем. Защитником Шебалина был Щепкин-Куперник, который своим толкованием 102 статьи Ус. Уг. Суд. защищал не только Шебалина, но и остальных подсудимых.

расстоянии, с одного конца корридора на другой. «Стук так раздражал меня, что я бросался на койку»,—признавался он мне,—и «зарывался головой в подушку». Но никогда он не протестовал перед товарищами против истязания своих ушей и не жаловался на бесконечную трескотню.

Шебалин был ближе всех с Поливановым, Лукашевичем, Яновичем и Новорусским; часто видался с Лопатиным, со мной и с Волкенштейн, но вообще он был в очень хороших отношениях со всеми.

Через 10 лет после заключения он получил от начальства краткую реляцию на бумажке, что жена его и ребенок умерли в *1885* году в Московской пересыльной тюрьме *перед* отправкой их в Сибирь.

А о рождении этого сына Шебалин был извещен полковником Новицким, который по этому поводу прислал Шебалину поздравление в то время, когда в 1884 году, в ожидании суда, он и его жена содержались в Киевской тюрьме.

4) *Дмитрий Яковлевич Суровцев*, сын сельского священника, кончил Вологодскую духовную семинарию. Физически, на мой взгляд, он носил черты сословия, к которому принадлежал, а отчетливый говор на *о* ясно указывал на то, что он Вологжанин. Высокого роста, сухощавый, с демократической фигурой и лицом, он обладал светло-голубыми глазами, которые при улыбке смотрели ласково и приветливо, но обыкновенно оставляли выражение лица неподвижным и довольно угрюмым. С характером ровным и совершенно лишенным всякой экспансивности, он был молчалив, не любил споров и был далек от каких бы то ни было умствований и теорий. Человек миролюбивого умонастроения и темперамента, он странным образом попал в члены партии «Народной Воли». Сосланный административно после процесса 193-х, к которому он привлекался в качестве обвиняемого, Суровцев, хотя и был противником всякого насилия, принял однако предложение сделаться хозяином типографии, в которой печатался орган нашей партии.

В начале 1882 года, вследствие многочисленных арестов в Москве, мы были вынуждены закрыть типографию во главе которой он был и через несколько месяцев она была переправлена в Одессу и на этот раз хозяином ее был сделан Сергей Дегаев, а Суровцев взялся быть наборщиком. Не больше как через месяц, в декабре, эта типография была арестована, как и весь персонал ее, и в 1884 году Петербургский Военно-Окружный Суд, разбиравший дело «14», приговорил Суровцева к 15 годам каторжных работ.

Попав в Шлиссельбург, Суровцев впоследствии стал совсем толстовцем и однажды пустил среди нас листок на тему: «зло родит зло, а добро—добро». Охраняющие нас жандармы хорошо понимали его характер и совершенно верно определяли его, говоря, что № 16-й—*человек снисходительный*. И он действительно был таким.

Однажды его простота и нежность души вылились в очень оригинальной форме, несколько позабавившей, но еще более тронувшей нас. Он написал обращение в департамент полиции и просил нас высказаться по поводу его. Сущность прошения в это учреждение состояла в том, чтоб ему, Суровцеву, департамент дал в Шлиссельбург двух детей, мальчика и девочку, на воспитание, причем он брался своим личным трудом пропитывать их. О программе воспитания автор скромно умалчивал. Мы были поражены как сущностью этого обращения, так и наивной верой «Мити» в доброе сердце департамента полиции. Конечно, мы отговорили его от посылки документа, который не мог вызвать ничего, кроме насмешки чиновников.

Противник всякого убийства, Суровцев был вегетарианцем, и, когда нам стали давать мясо, упорно отказывался от него. Однако, когда начальство заменило его рыбой, он потреблял ее. По совершенно непонятной причине, он был решительным противником употребления горячей воды, что дало Лопатину повод дать ему в шутку прозвище «Митя Кипяток». Не привыкший к умственному труду и не имея склонности к нему, Суровцев в крепости летом занимался преимущественно огородничеством,

которое очень любил, и выращивал превосходные овощи, а зимой много работал в столярной мастерской, и в области физического труда выказывал значительную техническую ловкость. Кроме него никто не делал таких красивых ложек, ножей и вилок из пальмового дерева, какими он снабжал в то время, когда металлических орудий этого рода нам не давали.

После амнистии 1896 года Суровцев был сослан в Якутскую область, в один из самых жалких, диких городков этой полярной окраины— Средне-Колымск. Но и там, наперекор суровой природе, Суровцев завел парники и огород, доставлявшие ему громадные хлопоты. Благодаря неусыпной заботливости, он съумел вырастить капусту и картофель, которые до него никогда там не выращивались. Мне рассказывали, что картофелины, необходимые для посадки, он вез в Средне-Колымск за пазухой—иначе они погибли бы от мороза. Для его личности характерно, что, собрав плоды своих трудов, Митя разделил урожай между ссыльными-товарищами и не забыл оставить долю и тому полицейскому, который надзирал над всеми ими.

В одном из своих очерков Тан (Богораз), описывая эту холодную область, в симпатичных чертах изобразил и Средне-Колымские огородные подвиги нашего оригинального товарища.

Когда к нам в крепость проник роман Толстого «Воскресенье», то в одном из ссыльных, шедших по этапу вместе с Катюшей, я нашла такие черты сходства с Суровцевым, что у меня явилась догадка, не послужил ли великому художнику какой-нибудь рассказ о нем материалом для создания этого образа.

Суровцев по существу идеалист и аскет; таким он был на свободе, когда, после разгрома Московской группы, я нашла его в Воронеже, живущим на берегу реки, без всякого приюта, страдающего малярией, укрывающегося в дождливую погоду под лодкой и питающегося картошкой, сваренной в котелке.

Таким он был в тюрьме, таким же остался и по выходе из нее. Упорный труд был его долей в Якутской обла-

сти и тот же труд наполнил всю его жизнь со времени возвращения в Европейскую Россию—труд над землей, которую он любит как настоящий крестьянин. Неприхотливый в привычках, он всегда скудно удовлетворял свои потребности, и из того малого, что имел, всегда готов был оказать помощь другим. Как бессребренник, он вызывает иногда прямо изумление. В 1918 году, когда, по случаю дороговизны, несколько друзей, объединенных в комитет помощи нуждающимся Шлиссельбуржцам, стал посылать ему 300 р. ежемесячно, первую сумму, которую он получил, он отослал, несмотря на свое стесненное положение, в Вологодскую семинарию в уплату *той стипендии, которую получал 35 лет тому назад*! Вообще, устраивать свои материальные дела Суровцев далеко не мастер: в Якутской области в условиях, мало обнадеживающих, он непременно хотел разводить рожь, и очень жалел, что по случаю отъезда из Сибири не мог довести свои опыты до конца. Не знаю почему, но когда наш товарищ, Фроленко, предложил ему заняться вместе с ним плодовым хозяйством в Геленджике, где у него есть участок и разведен сад, Суровцев отказался, хотя это могло значительно облегчить условия его жизни.

В 1920 году я неожиданно узнала, что он перебрался в Вологодскую губернию и живет в Тотьме в собственном домике, при котором есть огород, и этот последний прокармливает его в течение полугода, а в остальное время он довольствуется пайком в 15 фунт. муки в месяц, какой получали в то время остальные жители города. Это было так мало, что Суровцев голодал и так нуждался, что вытаскивал из крыши своего домика гвозди для обмена на продукты. «За 7 гвоздей я получил полпуда картошки», писал он мне. А для того, чтобы не погибать от холода, он разбирал плетень своего огорода: «Весной буду ходить в лес, наберу хвороста и заплету новый», говорил он в том же письме

Его деликатность и застенчивость таковы, что никакая нужда не может заставить его обратиться к кому-либо за помощью. Однажды, лица, обещавшие снабжать его му-

кой, после первой дачи спросили, не нуждается ли он в ней? Он сказал: «Нет». И это дало повод думать, что хлебом он обеспечен, а между тем никаких перспектив в этом отношении у него не было—а передачи в силу недоразумения прекратились.

Если все мы, или почти все, вышли после долгого заточения совершенно неприспособленными к жизни, то у Суровцева эта неприспособленность доходила до крайних пределов. В одном из писем он описывал мне свои приключения и бедствия при одном далеком путешествии по железной дороге: его багаж ушел без него,—кажется, он не успел сесть в вагон; можно себе представить, сколько это доставило ему хлопот! в вагоне кто-то из публики сел на занятое им место; грубость соседей, мелкие неудобства и разные недоразумения в пути совершенно лишали его душевного равновесия. Мелкие неудачи и нестроения приводили его в отчаяние: «Я думал, уж не итти ли мне в монастырь?» писал он мне.

Тюремщики, имевшие в Москве с ним дело до суда, и полицейские чиновники в Сибири относились к Суровцеву с редким доверием и почтеньем. Когда он содержался при одном из полицейских участков г. Москвы, его оставляли на прогулке без всякой стражи в палисаднике, выходившем на улицу, как-будто искушая бежать. Но Суровцев и не подумал об этом. «Разве я мог нарушить доверие ко мне?» говорил он по этому поводу.

В Сибири, по рассказу Шебалина, одно из начальствующих лиц выражалось о Суровцеве так: «Он совсем не похож *на нас*». Вероятно, он хотел этим сказать не то, что Суровцев не похож на него лично, а вообще на обыкновенных средних людей и подразумевал высокие духовные качества Дмитрия Яковлевича.

И в самом деле, его бескорыстие, равнодушие ко всему внешнему, материальному и какое-то детски-доверчивое отношение к жизни и к людям резко выделяют его и поднимают над толпой [1]).

[1]) Не помню, в этом или в следующем году был увезен Оржих; совсем измученный, с больными нервами и больным сердцем подал прошение, и был помилован и отправлен в Сибирь на поселение.

ГЛАВА XV.

Чатокуа.

В 1892 или 93 году комендант Гангарт передал нам для переплета журнал необыкновенно большого формата: «Новь», которую издавал Вольф. В нем я нашла небольшую статью, которая дала новое направление моей мысли и повела к занятиям, составившим целую полосу моей жзни в крепости, полосу, полную света и здоровой радости. Исходя из того, что в сутолоке жизни и практической деятельности люди к 40—45 летнему возрасту забывают многое, чему учились в школе, в С.-А. Штатах возникло движение, вылившееся в повторительные курсы для взрослых. Как ни проста эта мысль, она явилась своего рода откровением и была подхвачена массой народа. Центром движения сделался небольшой городок у Великих озер Америки—Чатокуа, где впервые повторительные курсы были организованы, и вскоре Чатокуа наполнилась небывалым стечением мужчин и женщин зрелого возраста, желавших обновить и пополнить свои знания. «Мне тоже 40 лет», подумала я. «Примусь-ка и я за систематическое повторение того, чему училась в Университете, и пополню свое образование изучением того, на что в свое время не обращала внимания».

До тех пор я читала все, что было и что попадало в нашу библиотеку, но ничем не занималась систематически. По образованию я была медиком, но, подобно другим Цюрихским студенткам, относилась, как говорится, спустя рукава к изучению естественных наук, которые проходятся на двух первых курсах. Я посещала лекции минералогии, ботаники, зоологии, физики и химии, потому что прослушать их было обязательно. Но из всех этих наук меня привлекала только химия—ее я изучала по Менделееву и с удовольствием занималась в Берне в лаборатории профессора Шварценбаха; остальными предметами я пренебрегала. Скажу больше: любознательности по отношению к природе в то время у меня совсем не было. Как источник

эстетического наслаждения, я ценила природу очень высоко и к красотам ее была очень чувствительна. Когда, по приезде в Швейцарию, я очутилась впервые в Люцерне и на мраморной площадке, вдававшейся в Фирвальдштедское озеро, увидала панораму гор, окружающих его и чудно выделявшихся над синевой вод под густой лазурью неба, я была опьянена и в необузданном восторге стала обнимать мать и сестру, которые стояли рядом. Я поняла тогда сцену на горе Фаворе и слова апостола: построим здесь три кущи; для тебя, для меня и для Иоанна.

Но все это были эмоции, не выходившие за пределы эстетики. Жалкие обрывки естествознания, которые давались в Институте, могли убить какой угодно интерес к нему; узкое понимание медицинского образования продолжило это равнодушие, а революционная жизнь и деятельность устранили все интересы кроме общественных. И только в Шлиссельбурге, когда не стало ни людей, ни общества и изо всей вселенной остался клочок неба да небольшой кусок земли, только тогда мое отношение к природе изменилось и я сознала, что ничего не знаю о ней: не знаю ни истории неба, ни генезиса земли, ни состава и эволюции горных пород, из которых состоит крепостная стена и обломки которых попирает нога. Наклонишься ли к куче песку и возьмешь горсть, нагретую весенним солнцем—не знаешь, что такое эти прозрачные кусочки, крошечные розовые обломки и красивые блестки, тонкой струйкой сыплящиеся из руки. Вот трава, точь-в-точь такая, какая росла на кладбище в деревне; вот цветок, который я встречала в лесу, когда мы собирали ландыши—и не знаешь названия, не умеешь обозначить их. Множество вопросов возникало в уме и не было ответа на них.

Это, поздно явившееся сознание, встало во всей определенности, когда я прочла статью о Чатокуа; но сначала я пошла не по тому пути, по какому следовало. Поступая в крепость, я привезла с собой все медицинские книги, которые имела, и теперь думала прежде всего заняться повторением. Однако, на первых же порах я поняла, что делаю не то, что надо. К чему мне перечитывать патологию и

терапию, когда нет надежды когда-нибудь применять на практике медицинские знания? Зачем повторять зады, которые не расширяют моего горизонта, когда есть области, совсем для меня неведомые? Такой областью было естествознание, и я обратилась к нему.

В нашей, тогда очень бедной, библиотеке была прекрасная книга Ауэрсвальда «Ботанические беседы», с иллюстрациями в красках. Я прочла ее с увлечением, а затем принялась за изучение растительных тканей под микроскопом. Микроскоп у нас был. Его купил для нас Гангарт за 50 руб., заработанных товарищами за ограду, выточенную ими для братской могилы воинов, убитых при взятии Шлиссельбургской крепости Петром I-м, а необходимые реагенты доставлял бывший тогда тюремный врач, Ремизов, очень внимательный ко всем нашим нуждам.

К тому же времени относится и мое занятие химией: я вновь прошла богатый содержанием учебник Менделеева «Основы химии», так много давший мне в университетские годы. Но все это не удовлетворяло меня; хотелось живого слова, указаний более сведущих товарищей.

Среди нас был естественник, арестованный в 1887 году незадолго до окончательных экзаменов—И. Д. Лукашевич.

Как студент, он подавал профессорам большие надежды, и его хотели оставить при Университете. Владея методами научного исследования, он обладал такими полными и точными знаниями, что мог дать совершенно определенные ответы на все вопросы по своей специальности. Скромный по отношении к себе, он, как настоящий ученый, не был скор на обобщения и осторожен в принятии научных гипотез и, вместе с тем с очаровательной готовностью делился своим знанием с каждым, кто обращался к нему за помощью. К нему обратилась и я, прося прочесть ряд лекций и помочь в практических занятиях по естествознанию. Лукашевич пошел на это, а в качестве слушателей ко мне присоединились: Новорусский, Морозов и отчасти Панкратов; Новорусский потому, что он был совершенно незнаком с естественными науками, так как образование получил в учебных заведениях духовного ведомства, а Мо-

розов потому, что с детства увлекался природоведением и никогда не уставал слушать то, что в этой области ему было уже известно.

Поместившись вместе с Морозовым в 5-й «клетке» с самодельной большой классной доской для рисунков, Лукашевич мог иметь слушателей в смежной 6-й «клетке», куда приходила на прогулку я, и в первом огороде, который занимали на этот час Новорусский и Панкратов. Так прошли мы курс по зоологии беспозвоночных, пользуясь учебником Гертвига, и курс ботаники, по которой в библиотеке уже было несколько хороших пособий. Золотые руки Лукашевича создавали для иллюстрации изящные модели из японского воска: его медузы и сальпы были восхитительны, а гистологические препараты и многочисленные рисунки делали все наглядным.

С 1896 года, когда мы стали получать богатые коллекции из Петербургского Подвижного музея учебных пособий, мы могли перейти к минералогии, геологии и палеонтологии, которыми и занялись с великим интересом. А когда из пассивных клиентов, какими мы были вначале, музей сделал нас активными работниками по увеличению его естественно-исторических богатств, практические работы по составлению гербариев и минералогических коллекций немало способствовали укреплению знаний, приобретенных из книг и из лекций Лукашевича. Новорусский как-то подсчитал все, что мы посылали в музей через доктора Безроднова, который заменил Ремизова, и мы сами были изумлены, как много за 3—4 года мы сделали для этого культурного учреждения. К сожалению, впоследствии, после выхода из крепости, мы могли убедиться, что далеко не все дошло до музея, и много коллекций и препаратов после отъезда Безроднова не были доставлены по назначению. Между тем, для гербариев я, Лукашевич и Новорусский сушили растения целыми тысячами и они большими кипами лежали в моей мастерской, ожидая очереди, когда я и Новорусский наклеим их на белую, так называемую «дамскую» папку, на которой их хорошо сохранившаяся зелень радовала глаз. Наша сушка растений с самыми неж-

ными, изящными листьями, наклеенными на белую папку, достигала такого совершенства, что свежесть окраски и красота расположения растений восхищали не только товарищей, требовавших демонстрации наших произведений, но заслужили похвалу и на Парижской выставке, куда их посылал Музей, скрыв их происхождение из русской Бастилии. Большой досуг и необходимость с малыми средствами достигать больших результатов так изощряли изобретательность и находчивость моих товарищей, что они делали прямо чудеса. Так, для занятия физикой они, при наших скудных средствах, ухитрились приготовить электрофор, электроскоп и даже маленькую электрическую машинку.

Увлекшись приготовлением коллекций по энтомологии, Новорусский, чтоб иметь материал для всех стадий развития насекомого, занялся насекомоводством. Для этого он построил «одиночную тюрьму», как я называла сделанный им из стекла двухэтажный домик с маленькими отделениями—камерами, в которые он заключал насекомых обоего пола того или другого вида. Те откладывали яйца, из которых выходили личинки; для каждого вида требовался соответствующий растительный корм, и Новорусский имел терпение каждый день посвящать часа два на поиски в разных местах нужных ему растений. Его хозяйство шло прекрасно, и когда все стадии развития насекомого были на лицо, он делал из них препараты. Это были хорошенькие коробочки, оклеенные цветной бумагой со стеклянной пластинкой вверху. В коробочке помещалось как целое насекомое, так и расчлененные части его, вплоть до мельчайших усиков и щупиков, работать над которыми приходилось с помощью лупы и крошечных щипчиков; в той же коробочке находились и все стадии развития насекомого, от яйца до взрослого состояния.

Находчивость Лукашевича обнаружилась во всем блеске, когда нам понадобился материал для гербариев споровых растений: он попросил для этого взять в магазине удобрительных туков 1 фунт сухих водорослей, а в аптеке— фунт лишайников, из которых приготовляются слизистые

отвары. После тщательного разбора, с неутомимым терпением он размачивал их, осторожно расправлял, прессовал, а затем с помощью лупы, микроскопа и определителя классифицировал и передавал Морозову, Новорусскому и мне для составления гербариев. Когда мы перешли к геологии, Лукашевич рисовал прекрасные карты в красках. Один вертикальный столбец такой карты заключал рисунки животных и растений, наглядно показывавший их эволюцию в различные эпохи развития земной коры. Другой столбец показывал изменение вертикальной поверхности земного шара в те же эпохи, а третий перечислял горные породы, свойственные каждой из них. Не довольствуясь этим, те же горные породы в миниатюрных образцах он разместил наряду с рисунками животных и растительных форм в длинном стоячем ящике, в котором был изображен вертикальный разрез земной коры.

При практических занятиях мы определяли минералы и горные породы по внешнему виду, сравнивая с образцами, которые присылал музей, и при помощи поляризационного микроскопа, присланного им; а для кристаллографии Лукашевич приготовил множество деревянных моделей, простых и сложных, и мы практиковались в определении их. Новорусский легко справлялся с этой задачей, но я часто возбуждала смех своими скороспелыми и неудачными определениями. Я с любопытством наблюдала при этом, как мой глаз постепенно воспитывался. Вначале, как путешественник, только-что приехавший в Японию, или Китай, не находит индивидуальных различий и туземцы кажутся ему все на одно лицо, так и я все более сложные модели принимала за однообразную фигуру и только мало-по-малу глаз научился улавливать различие углов, ребер и плоскостей

Между работами, которые предлагал нам музей, было приготовление препаратов, в которых цветок и его разложенные части помещались под стеклом. Это выпало на долю Новорусского и мою, и мы приготовили несколько сот изящных пластинок этого рода, снабжая их и описанием. Во всех работах на музей Новорусский отличался

особенной производительностью и решительно побивал рекорд. Затем, кажется, шла я, а третье место занимал Морозов, специализировавшийся на коллекциях мха и лишайников, которые он размещал в красивом порядке в изящных коробках из картона.

Среди наших занятий не была забыта и химия. Под руководством Лукашевича Новорусский и я прошли практический курс аналитической химии, что для меня было повторением, а для Новорусского—областью, до тех пор совершенно неизвестной. В это время в старой тюрьме я имела уже свою отдельную мастерскую и анализ мы производили так, что я стояла в мастерской, у открытой форточки двери, а по ту сторону ее, в корридоре, находились Лукашевич и Новорусский, так-что мы все могли видеть реакцию.

Каждый раз, когда наша группа заканчивала какой-нибудь цикл занятий, я обращалась к Лукашевичу с сияющим лицом и говорила: «Лука, вы не поверите, какую радость испытываю я от того света, который вы бросили в мою голову!» и затем прибавляла: «Ну, а теперь вот еще темный уголок—осветите-ка его», и мы уславливались о дальнейших занятиях.

Так в течение нескольких лет, одну за другой, мы прошли главнейшие отрасли естественных наук.

Для меня эти лекции и коллективные занятия наполняли содержанием бездеятельную жизнь в крепости. Не говоря об удовлетворении, которое дает умственный труд, постоянным источником удовольствия было видеть неоскудевающий альтруизм нашего несравненного лектора, который не жалел для нас ни времени, ни труда; а то, что выходило из наших рук, доставляло нам, помимо сознания, что участвуешь в культурно-просветительном деле, громадное эстетическое наслаждение. Красивого в тюрьме ничего не было, но мы создавали прекрасное, которым нельзя было не любоваться.

Все это вместе связало Лукашевича, Морозова, Новорусского и меня в тесный кружок и в общей работе и

постоянном общении окрепла дружба, не ослабевшая и после выхода из Шлиссельбурга.

ГЛАВА XVI.

Переписка (1897 г.).

Поздняя радость не радует, и, когда через 13 лет нам дали переписку—радости я не ощущала. На протяжении этих 13 лет родные уходили мало-по-малу куда-то вдаль. Пути нашей жизни разошлись и, чем дальше, тем больше отходили один от другого. Они, родные, словно умерли... Разлука долгая, безнадежная, разве не есть подобие смерти?

Еслиб с самого начала мы не были лишены права переписки—это было бы великое благо: связь с родными была бы связью с миром живых. Но этого-то и не хотели: нас хотели поставить в условия, которые, по отрешенности своей от всего обычного и нормального, составляли бы до фантастичности причудливый, можно сказать, потусторонний мир.

Переписка должна была бы оживить связь с родными, вновь сблизить с ними, но получать письма и отвечать разрешалось *два раза в год. Два раза*! Уж одно это мешало сближению, расхолаживало. К тому же писем не оставляли у нас на руках—мы должны были их возвращать. Между тем всякий знает, как иной раз приятно при подходящем настроении *перечитать* старое письмо.

Не знаю как другим, но мне приятно видеть *почерк* близких: когда я бросаю взгляд на полученное письмо, в моем уме тотчас возникает внешний образ автора, а по ассоциации, в существенных чертах, и духовный облик его. Письма, писанные на машинке, как часто это теперь делается, обезличивают их, и я никоим образом не хотела бы иметь коллекцию, в которой нельзя узнать по почерку, кто писал письмо, и надо искать подпись, чтобы узнать автора.

В наших условиях получение письма вызывало не подъ-

ем настроения, а тревогу: мы волновались, но не тем возбуждением, которое охватывает при предвкушении чего-нибудь приятного. Нет! то было тягостное волнение людей, которым надобно было забыть, а извне—врывается напоминание и ломает покой души.

В Обломовке, рассказывает Гончаров, получение письма было явлением необыкновенным: оно нарушало ход жизни гг. Обломовых—они приходили в смятение. В их представлении письмо являлось вестником неприятностей и бед—ничего хорошего от него нельзя было ждать, и его не спешили распечатать: пусть полежит! С его появлением надо было освоиться, к его содержанию—подготовиться, и письмо вскрывалось чрез 3—4 дня.

У нас в ожидании, что письмо непременно вызовет тяжелое настроение, Лопатин, если получал письмо перед обедом, откладывал его в сторону, чтобы не испортить аппетита, а потом не читал, чтобы не нарушить послеобеденного отдыха.

Правда, не все были так спокойно благоразумны.

...О чем родные писали нам? Их письма были совершенно лишены общественного содержания—департамент полиции позаботился об этом. За все время, единственным исключением было первое письмо, залетевшее к нам в крепость. Это было письмо в 16 страниц, адресованное мне моей младшей сестрой, Ольгой.

Без всякого предисловия, которое могло бы потрясти и растрогать, она обращалась ко мне, как-будто—мы *только-что* расстались при самых обыденных условиях, или это было не *первое*, а, по крайней мере, 301-ое в целом ряде писем, которые она могла бы написать в течение 13-летней разлуки.

Она описывала всероссийскую промышленную выставку 96-го года в Нижнем-Новгороде и съезд, который был приноравлен к ней и прошел с подъемом, необыкновенным для того времени. В связи с этим сестра писала о финансовой политике Витте и расцвете русской промышленности, вызванном этой политикой; рассказывала о развитии социал-демократического движения, окрыленного индустриальными успехами России; о борьбе между народниками и

марксистами, переживавшими свой первый период натиска и бурь; о жарких схватках и ядовитой полемике, бушевавшей среди молодежи, в литературе, в семейном кругу, где экономический материализм возбуждал разногласия, споры и чуть ли не раздор. Все содержание письма имело общественный характер, в нем чувствовалось дыхание жизни, слышались молодые задорные голоса. Оно обошло всю тюрьму, и мы все читали его с захватывающим интересом. Но оно—эта первая ласточка—было, как я уже сказала, единственным в своем роде. Других подобных мы не получали. И если оно было пропущено департаментом полиции, то, вероятно, лишь потому, что сестра с большим искусством переплела общественную тему со сценами домашней жизни, семейными разговорами о марксизме и т. п.

Обыкновенно же родные сообщали матереологические сведения: о засухе, бурях и градобитиях; говорили об урожае хлебов, фруктов и т. п.; много места занимали, конечно, новости семейной хроники: браки, рождения и смерти. И о чем бы ни рассказывали эти письма, они обходили всех: мы читали их, как в первые годы читали все, что к нам попадало, как читали ничтожный «Паломник», журнал духовно-нравственного содержания, ища всюду, даже в нем, намека на жизнь, на современность.

Но если переписка не удовлетворяла желания знать, что творится на белом свете, то доступная тема о домашнем очаге не одному из нас принесла тяжкое горе: в этой области сообщения бывали иногда потрясающие.

Одному писали, что его старая одинокая мать осталась без приюта. Повидимому, она впала в психоз: уходила по ночам из дома и бесцельно бродила по городу; однажды ее застали в момент, когда, собрав весь свой скарб, она готовилась произвести пожар. Быть может, люди, у которых она жила, измучились от необходимости быть постоянно на стороже, и старой женщине пришлось переехать в другой город. Там, без родных и знакомых, без всяких средств, она была вынуждена поступить в богадельню. Всякий знает, что это за учреждение. Эта мать была простая, необразованная, но гордая женщина—всю

жизнь она ненавидела эти филантропические приюты для бесприютных. Тщетно товарищ просил, чтоб ему разрешили отсылать матери его тюремный заработок. Департамент отказал, но послал ей 50 рублей от себя. Однако, деньги вернули, и департамент дал знать сыну, что деньги не застали его мать в живых.

В семье другого—было еще хуже: там был полный развал. Мать, душевно-больная, уже много лет содержалась в психиатрической лечебнице; отец, помещик, умирал от тяжелого недуга, в одиночестве, в провинциальной глуши, в своем имении; чужие люди окружали его, думая о наследстве; две сестры находились во вражде и не встречались друг с другом, а третья, отчужденная от них, опустилась на низшую ступень социальной лестницы. В жизни все это развертывалось годами, постепенно, а теперь падало одним взмахом, как удар молотка, на голову узника.

Просты и задушевны были письма неграмотной матери Антонова: ей приходилось диктовать их. Она жаловалась на одиночество, горевала о разлуке с сыном, говорила о беспомощности своей старости, и после каждого выражения горя неизменно прибавляла: «Но, да будет, Господи, воля твоя»!

А мы? Как и о чем могли писать мы? Запрещено было писать о товарищах, о тюремном здании, о своей камере, о тюремных порядках. К содержанию писем департаментская цензура относилась с подозрительностью, доходившей до смешного.

Однажды, в письме к брату, говоря о бессоннице, Лопатин привел стих Пушкина: «И на штыке у часового горит полночная луна». И что же? Департамент полиции вернул письмо, требуя изменения текста. На стене крепости ходил часовой, а над крепостью, как над всей землей, бывала луна. Этого было достаточно, чтоб в стихе Пушкина полицейские цензора усмотрели намек на расположение камеры в тюремном здании.

Если департамент, рекомендуя нам писать только о себе, думал в письмах найти отражение наших настроений, подметить изменение взглядов—этого удовлетворения он не

получил: о своих переживаниях все молчали. Но, если внешняя сторона жизни бедна, а интенсивная внутренняя жизнь закрыта, о чем писать? При опасении открыть уголок своей души, при запрете упоминать о том да о другом—неудивительно, что письма наши не отличались большой задушевностью; они были натянутые, искусственные; часто приходилось долго сидеть над ними, чтобы выжать, наконец, достаточно содержания для заполнения листа почтовой бумаги большого формата. Не посылать же его наполовину белым! К счастью, начальству надоело, хотя бы и два раза в год, читать длинные послания и по истечении некоторого времени нам стали выдавать лист обыкновенной величины.

За 13 лет родственные связи ослабели; воспоминания потускнели; отношение к родным изменилось. Явилось, я сказала бы даже, извращение его. Когда я узнала, что мой любимый дядя умер, я почувствовала только сожаление. Трудно признаться, какое холодное, чисто рассудочное было это сожаление! А когда в судорогах упала и умерла маленькая птичка, которая жила со мной в камере, я испытала настоящее большое горе. Птичка была ручная, садилась мне на плечо, клевала рябину из моих рук. Ее мягкое, теплое тельце я могла прикрыть ладонью; она щебетала на моем столе и весело брызгала во все стороны водой, купаясь в раковине водопровода. После ее смерти я плакала целые две недели и не могла видет без слез тот гвоздь, на котором она обыкновенно засыпала. Чтоб остановить этот поток слез, я должна была просить смотрителя перевести меня на время в другую камеру.

Да! не писались краткие, глубоко прочувственные письма!

Однажды, желая проверить, нет ли в письме чего-нибудь, что дало бы повод к возвращению его, Морозов прочел мне на прогулке свое длинное посланье к матери и сестрам.

Когда он кончил, я сказала: «Ну, что же? *отличный материал для твоего некролога.* И мы смеялись. Смеялись, а надо бы плакать!

Такими же надуманными, лишенными непосредственности и простоты были многие места и в моих письмах, посланных в периоид 1897—1901 г.г. Окаменевшая душа моя раскрылась лишь в 1903 г., когда, после продолжительного вынужденного перерыва, я получила известие, что моя мать больна, что она умирает, и я почувствовала, что уж никогда, никогда не увижу ее.

...Да. Письма были не в радость, а в тягость. Департамент не знал, что делал. Чиновники думали, что дают облегчение, но это было в сущности издевательство. И еслиб департамент, прежде чем давать переписку, спросил меня: желаю ли я ее? я ответила бы: «Нет»; только попросила бы не говорить об этом моей матери.

ГЛАВА XVII.

В. С. Панкратов.

В 1898 году из крепости вышел Панкратов, а в 1902 г. кончил свой срок Поливанов.

Василий Семенович Панкратов принадлежал к рабочей среде и по профессии был токарь. В детстве он испытал горькую нужду: его отец рано умер и оставил многочисленную семью, в которой все дети были мал-мала меньше. «Бедность была так велика, что мы умерли бы с голоду, если бы не помощь соседей-крестьян», рассказывал мне Панкратов об этом периоде жизни.

В деревне, где отец его служил у помещика, была школа, и в ней Василий Семенович получил первоначальное образование.

Как токарь, Панкратов работал в Петербурге и рано сделался революционером. Кто были те нелегальные партийные пропагандисты, с которыми он имел сношения, сказать невозможно, потому что все они скрывались под псевдонимами, и раскрыть их теперь уж некому. Скомпрометированный одним рабочим, который изменил товарищам, Панкратову, еще совсем юному, пришлось перейти в неле-

гальные. В 1883 году, как член партии «Народной Воли», он состоял членом боевой дружины вместе с Мартыновым и нашим другим Шлиссельбуржцем, рабочим Антоновым. Партия в то время была уже разгромлена и билась в бесплодных судорогах последних схваток. В боевых действиях Панкратову участвовать не пришлось, но горячий темперамент и боевое настроение, не угасавшее в отдельных личностях, вызвало при аресте его в Киеве вооруженное сопротивление, при котором он ранил жандарма. За это он получил 20 лет каторжных работ и был отправлен в Шлиссельбург вместе с Карауловым и Мартыновым. После приговора в Киевской тюрьме всем троим хотели сбрить полголовы, но это удалось исполнить только после отчаянного сопротивления осужденных, поддержанных буйным протестом всех товарищей по заключению.

Панкратова привезли в Шлиссельбург 20 дек. 1884 г. — день памятный для меня, потому что его посадили в камеру рядом со мной, и он оказался первым соседом, которого я получила со времени моего ареста. В Петропавловской крепости меня держали в полной изоляции и, не имев никогда соседей, я поступила в Шлиссельбург, не умея стучать и не зная тюремной азбуки декабриста Бестужева. Только в начале декабря, после долгих бесплодных попыток, мне удалось, наконец, распределить алфавит в 6 строк по 5 букв в каждой, и я разобрала слова: «Я—Морозов. Кто вы?» слова, которые по крайней мере в течение целого месяца выстукивал мой старый друг, Морозов, из камеры, находившейся по соседству, внизу. Я долго не могла сообразить ни того, откуда несутся эти звуки, ни того, в какое место и чем я должна стучать. К тому же я думала, что стучит шпион. Наконец, схватив деревянную ложку, я изо всей силы простучала в кран водопровода: «Я—Вера», и на первых порах этим ограничилась: Морозов понял...

Панкратов стучал не лучше моего; мы долго не понимали друг друга и отходили от стены, разделявшей нас, огорченными, а когда напрактиковались, то подружились.

Когда Панкратова привезли, ему было не более 22 лет

и то, что он таким молодым кончил свою жизнь, возбуждало во мне сострадание и жалость. Я была старше его на десять лет и мне казалось, что человеку со свежими силами должно быть гораздо труднее, чем мне. Это определило мое нежное, почти материнское, отношение к его личности и выразилось в тех двух-трех стихотворениях, которые я посвятила ему.

Как часто случается при заочном знакомстве, он представлялся мне круглолицым юношей с едва пробивающимся пушком на румяных щеках, шатеном с серыми, добрыми глазами и мягким славянским носом. На деле же он был смуглым брюнетом с черными, как смоль, волосами, с черными пронзительными глазами и крупным прямым носом — «настоящий цыган», как он сам отзывался о своей наружности.

В соответствиии с такой внешностью, Панкратова отличался пылким характером, был вспыльчив, несдержан, резок (но не со мной!) и крайне нетерпим. Жандармов он ненавидел всеми силами души и приписывал им гадкие поступки, которых, я уверена, они даже не делали. Довольно было и тех, о которых мы знали с достоверностью. Я часто успокаивала его болезненную мнительность и отклоняла вспышки, которые могли ввести его в беду. Зная его нрав, помня вооруженное сопротивление при аресте и буйство при бритье головы, смотритель Соколов, насколько я могла заметить, опасался раздражать его и не применял к нему тех репрессивных мер, какие выпадали на долю строптивых. Поэтому его пребывание в крепости прошло для него, в общем, благополучно.

В первых же беседах с Панкратовым через стену, выяснилось, что он намерен серьезно заняться самообразованием, в чем я, конечно, старалась поддержать его. Действительно, продолжительное пребывание в крепости не пропало для него даром, и, ко времени выхода, он успел накопить порядочный запас знаний, что позволило ему впоследствии в Сибири принять участие в научных экспедициях и делать геологические изыскания.

Как профессиональный работник, он оказался у нас в крепости мастером на все руки, делал разные превосход-

ные вещи и наряду с Антоновым был лучшим столяром и токарем.

Ближе других он был с Антоновым, но в особенности дружил с Ашенбреннером, который был старше его на целых 20 лет.

По амнистии 1896 года срок его 20-летней каторги был сокращен на одну треть, и, вместо 1904 года, он расстался с нами в 1898 г.

ГЛАВА XVIII.

П. С. Поливанов.

Дальнейшие выходы долгосрочных уж не производили большого впечатления. В январе 1902 года вышел Тригони, осужденный по делу, которое было продолжением процесса 1-го марта 1881 г. Все, что я могла сказать о нем, изложено в его биографии, помещенной в моей книге «Шлиссельбургские узники», и я скажу только о Поливанове, который в 1882 г. был заключен в Алексеевский равелин, в 1884 г. переведен в Шлиссельбург, а в 1902 г., кончив 20-тилетний срок, осенью вышел на поселение и был отправлен в Акмолинскую область. Оттуда Поливанов бежал заграницу, но во Франции застрелился при довольно загадочных обстоятельствах среди переговоров с Азефом и, как мне говорили, даже среди приготовлений, имевших целью террористическое выступление в России при содействии этого провокатора.

Петр Сергеевич Поливанов, сын богатого помещика Саратовской губ., был одним из самых симпатичных людей революционного лагеря. Небольшого роста, он имел красивое, смуглое лицо южного типа с правильными чертами и прелестные карие глаза газели. По натуре он был склонен к романтизму: в детстве мечтал, как, впрочем, часто мечтают мальчики, о военных подвигах и славе Наполеона. В 1878 году, будучи гимназистом, отправился в качестве добровольца в Сербию завоевывать ее независимость, а в

1882 г., сделавшись народовольцем, предпринял освобождение из Саратовской тюрьмы своего товарища по «Народной Воле»—Новицкого, против которого, в сущности, никаких серьезных обвинений не было. При этой попытке, в состоянии исступления, он убил сторожа (или полицейского). Самая попытка кончилась неудачей: приготовленный кабриолет с седоками опрокинулся; Новицкий, Поливанов и Райко, правивший лошадью, были задержаны толпой и так зверски избиты, что Райко умер, а Новицкому и Поливанову дело стоило смертного приговора, который, после подачи просьбы о помиловании, был заменен каторгой. Свое прошение о помиловании Поливанов объяснял желанием облегчить участь Новицкого. «Я думал, что он хочет жить», говорил он нам, а «без меня прошения он не подал бы».

Одной из черт, характерных для Поливанова, было постоянное восхваление трех наций: турок, поляков и испанцев. Первым, не без основания, он приписывал врожденную честность, благородство и уменье с достоинством держать себя в повседневных отношениях, а поляков и испанцев славославил за дух рыцарства, который находил в них. Симпатия к испанцам побудила его даже к изучению испанского языка, что смешило нас, так как книг на этом языке мы в крепости не могли надеяться получить. За эту склонность к испанцам я в шутку звала его гидальго.

Другой особенностью Поливанова была страсть к животным, в частности к птицам, за что другим прозвищем его было «Pierre l'oiseau». С голубями у него была тесная дружба; в своей камере он предоставил в их распоряжение вентилятор, в котором они выводили птенцов. Чтобы кормить этих прожорливых сожителей, он отказывался от ужина, прося заменить его овсом, и находил удовольствие по целым часам разговаривать с ними, имитируя их воркование, и уверял, что голуби и он понимают друг друга.—Наши огороды привлекали синичек, и Поливанов так приручил их, что они садились ему на шапку и клевали насыпанный на нее корм.

В равелине Поливанов испытал великие страдания, толкавшие его на самоубийство. Яркое художественное

описание его переживаний он оставил в воспоминаниях, написанных в Шлиссельбурге и вывезенных оттуда в скрытом состоянии в шахматной доске. Чрезвычайная нервность с припадками почти психоза обнаруживалась в нем в течение всего пребывания в крепости и часто внушала нам тревогу. В эти периоды он удалялся от всех товарищей, не ходил на прогулку и, оставаясь в камере, весь день буквально метался по ней взад и вперед. Настроение его в такие моменты было крайне мрачное, недоверчивое и подозрительное, что было совсем не свойственно его милому характеру.

Хотя Поливанов не чуждался работ в мастерских, но особого увлечения ими не выказывал: главной страстью его были книги, которые он поглощал одну за другой с неимоверной быстротой. На мое удивление по этому поводу он отвечал: «Я вижу и читаю *сразу 15 строк*». В литературе я встречала указание лишь на один пример такой способности—ею обладал знаменитый Эмиль Золя. И такое чтение не было у Поливанова поверхностным—этому мы имели множество доказательств. Так, он передавал все содержание большого номера еженедельника Times с точностью, почти буквальной. Изумительная память позволила Поливанову накопить большой запас знания за те 20 лет, которые он провел в крепости. Они относились преимущественно к политической истории и к общественным наукам, тогда как к естествознанию и математике он был совершенно равнодушен.

Обладая значительным литературным талантом, Поливанов, кроме воспоминаний об Алексеевском равелине, которые показывают замечательную психологическую память, оставил рассказ из тюремной жизни: «Никак кончился!» А в эпоху наших стихотворных увлечений написал немало стихов на русском и французском языках.

При феноменальной памяти неудивительно, что Поливанов был хорошим лингвистом. Кроме французского и немецкого, которые он знал до тюрьмы и в крепости должен был в них только усовершенствоваться, он хорошо ознакомился с английским и вполне бегло читал на нем. О том, что он изучил испанский—я уже упоминала.

В группе людей, собранных в Шлиссельбурге, человек с таким образованием, какое имел Поливанов, не мог бросаться нам в глаза, но мне говорили, что после выхода из крепости, когда ему случалось бывать в обществе, он, с его способностью хорошо говорить, производил впечатление блестящего.

Мое знакомство с Поливановым началось в 1878 году в Саратове, куда я приехала, чтобы служить в земстве и жить в деревне для пропаганды. Поливанов в то время был гимназистом, участвовал в кружке самообразования, имел уже определенные убеждения социалиста-народника и с революционными целями совершал экскурсии в ближайшие деревни. Из общественной квартиры Марьи Антоновны Брещинской, служившей центром для саратовских землевольцев, по субботам мы часто видели маленькую фигурку с пачкой брошюр под мышкой. С таинственным видом, придерживаясь домов, фигурка пробиралась по улице, своим видом невольно обращая на себя внимание. Указывая на нее, мы со смехом говорили друг другу: «Смотрите, Поливанов идет в народ». Действительно, по окончании субботних уроков, приняв вид опасного конспиратора, он отправлялся до понедельника куда-нибудь в окрестности, чтобы распространять среди крестьян нелегальную литературу.

Среди нас Поливанов имел немало друзей. Между ними первое место занимал, кажется, Морозов, посвятивший ему прочувствованное стихотворение, в котором можно найти намек на нередко меланхолическое настроение его друга. Большое место он занимал также в душе Шебалина; но, вообще, нельзя было не любить этого умного и незлобивого товарища, в котором всегда чувствовалось нечто рыцарское, и, вместе с тем, что-то простое, детское.

Его самоубийство на свободе, когда жизнь, казалось, открывала ему возможность и деятельности, и личного удовлетворения, своим внутренним трагическим противоречием глубоко потрясло всех нас, которые вместе с ним переживали и пережили бездеятельные темные годы заточения.

ГЛАВА XIX.

Мастерские и огороды.

С 1893—94 гг., когда было открыто столько мастерских, что все желающие имели возможность работать, физический труд стал играть большую роль в нашей жизни. Теперь начальство шло в этом нам навстречу. Казенная ассигновка на всевозможный материал была щедрая и мы выписывали непомерное количество досок, болванок для точения, фанерок—часто очень дорогого дерева; лаку, картона, папки и бумаги. Одни делали изящную, другие более грубую мебель: шкафы, этажерки, кресла и табуретки; некоторые специализировались, делая шкатулки из клена, ореха, каштана и т. п.; точили посуду, вазы и блюдца по заказу коменданта, разных служащих или для собственного употребления.

Наши изделия, как изделия интеллигентных людей, отличались красотой, а иногда большим изяществом, хотя, кроме трех рабочих (Панкратова, Мартынова и Антонова), никто раньше в руках не держал ни стамезки, ни рубанка и работать учились по книжке Нетыкса. Пробуя разные методы и делая маленькие изобретения, недоступные для тех, кто работает из-за хлеба и по нужде, мы создавали иногда chefs d'oeuvre'ы, которые доставляли нам немало эстетических радостей. Особенно красивые вещи обыкновенно выставлялись в корридоре всем на показ; так был выставлен буфет с резьбой, над которой Антонов работал полгода, и получил за работу 25 р., которые распределил между всеми.

Долгие годы Антонов добивался устройства кузницы для слесарной работы. Наконец, в 1900 году «с высочайшего разрешения» устройство ее было допущено. Товарищи сами воздвигли для этого целое здание на большом дворе цитадели, по которому я и другие некогда шли в карцер в таинственное здание, похожее на застенок... А теперь с 93 года в этом прежнем застенке, в его 10 камерах, бодро работали 15—20 человек и под конец мужчин в мастер-

ских почти не запирали. Широкий, прежде столь пустынный и казавшийся зловещим, корридор старой тюрьмы был завален досками для всевозможных столярных поделок.

В кузнице товарищи сами сложили горн и работа кипела, выпуская впоследствии всевозможные изделия: бритвы, ножи, столярные инструменты, щипцы для сахара, изящные топорики и т. п. Антонов уверял, что он может смастерить даже механизм для парохода и сделать для меня фортепиано.

Огородничество у нас процветало. По каталогам мы выписывали семена всевозможных овощей и цветов. Последних мы развели до 600 видов и в этом особенно отличался Лукашевич, с детства большой знаток цветов и любитель ботаники. А для овощей в одном из огородов однажды была нами устроена даже выставка: на широком помосте, декорированном простынями с цветными перехватами, фигурировали многофунтовые брюквы Лукашевича, гигантский лук Антонова, моя клубника, розы Василия Иванова, томаты Попова и пр. Посетителями были сами заключенные и доктор. Выписывая семена, Лукашевич, во внимание к курильщикам, страдавшим без табаку, получил контробандно, под латинским названием Nicotiana, отличный сорт табаку, а потом семена махорки. Когда растения выросли, листья собрали, подвергли оброжению и началось куренье, сначала втихомолку, а потом в открытую. За отсутствием спичек, мы прошли все стадии, которые человечество проходило в истории добывания огня: Новорусский устроил прибор для добывания его путем трения: однако, вертящийся стержень дымился, но искры не давал; Суровцев предложил кремень и огниво, и жег где-то тряпочки, снабжая публику трутом, а кремней было, сколько угодно, в почве огородов. Начальство, обеспокоенное дымом и табачным запахом, старалось легализировать куренье. В 96 году, при посещении тюрьмы министром внутренних дел Горемыкиным, доктор Безроднов замолвил словечко о табаке, как предохранительном средстве против цынги—и табак был допущен.

Так как спичек выдавалось при этом мало, то многие

курильщики делили каждую на 2 части и таким образом удовлетворяли своей страсти.

Некоторые товарищи обнаружили такое пристрастие и любовь к огородничеству и плодоводству, что им показалась мала та территория, на которой было устроено 6 огородов для овощей и 6 «клеток», где во второе десятилетие мы разводили цветы. Они добились при Гангарте устройства еще двух огородов—7-го и 8-го. Потом, те же Фроленко и Попов, отвоевали обширный двор старой цитадели. Вместе с другими товарищами они разделали его под культуру, уничтожили тот девственный луг, который восхищал меня, когда я шла в карцер, и стерли все следы той суровости, которой было окружено это скорбное место расстрела Мышкина и Минакова, казни Рогачева и Штромберга в 1884-м году, Ульянова, Щевырева, Андреюшкина, Осипанова и Генералова—в 1887-м.

Перед зданием исторической тюрьмы, где теперь были мастерския, товарищи завели обширные плантации табаку, помидоров, огурцов и множество парников, в которых выращивали даже дыни, щеголявшие самыми громкими названиями, напр., «Золотое совершенство» и т. п. А Фроленко, который увлекался плодоводством, повсюду в клетках и огородах насажал фруктовых деревьев и ягодных кустов, как об этом подробно рассказано в его биографии, написанной мной. (См. мою книгу: «Шлиссельбургские узники»).

Когда Фроленко замышлял заняться плодоводством, у нас вышло нечто в роде «Принципиального теленка», о котором рассказывает Каронин в описании колонии интеллигентов.

Заработанные деньги, как я говорила, составляли общее достояние: этого хотели наши мастера. Но вот явился еретик: Фроленко обратился к нам с письмом: для почина он желал выписать два сорта интересовавших его яблок и для этого просил дозволения взять специальный заказ, чтобы заработать 10 рублей и на них выписать деревья из садоводства Иммера. Казалось, надо бы приветствовать это начинание и удовлетворить желание Фроленко в тюрьме,

где не только исполнить желание, но и иметь его приходилось так редко. Но поднялся принципиальный вопрос, что это будет нарушением принципа общинности, проявлением индивидуализма. Начались споры в сущности о том: приносить ли субботу в жертву человеку или человека субботе. Погорячившись, решили: специального заказа Фроленко не брать, яблони для него выписать, и не на один десяток рублей, но деньги взять из общего фонда. Яблони Фроленко предполагал посадить, имея в виду ни одних нас. «После нас привезут других», говорил он, «и они найдут наши яблони уже большими».

Благодаря мастерским и земле, данной для обработки, тюрьма постепенно, медленным ходом развития, превращалась в замкнутую трудовую общину, похожую на муравейник, так энергично в ней происходила работа. Большинство из нас устало читать без определенной цели и без всякой системы; устало учиться без надежды к чему-нибудь прилагать знания; устало думать всегда в одном и том же цикле идей и мечты; устало скорбеть одними, всегда одними и теми же, скорбями... Не имея возможности отдаваться общественной деятельности, создавать и творить что-нибудь на пользу других, мы находили в физическом труде отдых от напряжения нервов, исход для энергии, единственное поле, к которому можно было приложить усилия; была, хотя бы такая цель, как превратить трудом бесплодную каменистую почву в «пух» и безотрадный пустырь обратить в уголок сада. Иногда товарищи делали в этом направлении чудеса. Василий Иванов культивировал на своей маленькой территории всевозможные сорта роз. Тут были розы чайные, розы моховые, гирляндные, желтые, мэденблёш и другие, названия которых и не запомнишь. Лукашевич и Новорусский сделали трубы из жести и, проведя воду, устроили в своем огороде маленький фонтан метра в полтора высоты: его тонкая струйка ниспадала в небольшой круглый бассейн, выложенный мелкими разноцветными камешками и обсаженный кругом водяными растениями: тонковетвистой алисмой и другими...

Струйка журчала и тихо плескала, как журчат и пле-

щут ручьи на свободе... Я звала его «Бахчисарайский фонтан».

Новорусский, который, как и Лукашевич, более других заботился об украшении обстановки, в которой мы жили, посадил вдоль всего забора первой клетки, которая считалась специально моей, многолетний полевой вьюнок. Он развился роскошно, и вьющиеся стебли его, поднимаясь по шпагату, каждое лето покрывали забор во всю высоту его, образуя сплошную зеленую стену, на которой местами расцветали большие, белые колокольчики. При малейшем колебании воздуха эта живая стена колыхалась прекрасной изумрудной завесой. Проложив от водопровода жестяную трубку, Новорусский вывел ее в треугольный цветник, занимавший средину клетки, и устроил для меня такой же «Бахчисарайский фонтан», какой прельщал меня в огороде у него и Лукашевича.

Эта зеленая стена, совершенно маскировавшая тюремный забор, и этот журчащий фонтанчик, такой необычайный в тюремных условиях, совершенно преображали загончик, в котором я гуляла в первые годы. Тогда это был голый пустырь, на котором не росла ни одна травинка, и земля лежала печальная, ровная и твердая, как камень: она была *убита*, эта земля, в буквальном и в переносном смысле *убита*, и лежала мертвая, жесткая в своем вынужденном бесплодии.

ГЛАВА XX.

Проволочная паутинка.

Получив два новых огорода и завоевав обширный двор *перед* старой тюрьмой в цитадели, наши землеробы не удовольствовались этими приобретеньями. Похожие на мужика в рассказе Толстого: «Много ли человеку земли надо», они все дальше и дальше хотели распространить свои владения: они не могли видеть равнодушно ни одного клочка необработанной земли, чтоб не мечтать о завоевании его.

Им покоя не давала мысль, что на дворе, *позади* старой тюрьмы, растут лишь сорные травы, тогда как это бесплодное пространство можно превратить в сад с цветущими яблонями, жимолостью и сиренью. Много красноречия и силы убеждения было потрачено ими, пока, наконец, в 1898 или 99 году их упорные и энергичные домогательства увенчались успехом. «Ну, пусть! работайте, возделывайте—только бы в тюрьме было тихо», казалось, говорило или думало тюремное начальство.

Двор за старой тюрьмой представлял собой настоящий, никуда негодный пустырь—длинное узкое пространство, с 3-х сторон затененное стенами цитадели, поросшее почти тропической крапивой и лопухом, и засоренное множеством щепок и кусков коры, которую мы снимали с больших болванок для токарной. Верхний слой двора на аршин или больше состоял из тяжеловесных глыб известняка и щебня, почему на дворе и могли расти только самые неприхотливые растения. Столетняя рябина, такая же прекрасная, какая росла на переднем дворе старой тюрьмы, стояла в углу двора и одна радовала глаз среди мерзости запустения, еще более подчеркивая заброшенность этого жалкого места. И его-то наши земleробы решили превратить в прелестный уголок рая.

Задача была трудная, и вся энергия, не находившая себе исхода, была пущена в дело. Вся площадь двора была взрыта; все камни выкорчеваны; весь щебень вынесен и употреблен на мостовыя в огородах и клетках.

Для посадок было необходимо создать плодородную почву: товарищи вырыли глубокую широкую воронку, докопались до голубой силлурийской глины, извлекли ее, и, смешав с песком и перегноем, приготовили превосходную смесь, а в опорожненную воронку сбросили известковые глыбы и мусор, загрязнявший все пространство.

После этой предварительной, по истине, циклопической работы, должно было начаться творчество, и мне было запрещено заглядывать на место действия: товарищи хотели сделать мне сюрприз.

Настало время, и они сказали: «Вера! иди».

День склонялся к вечеру, когда жандармы привели меня в заповедное место, которое я видела раньше в самом хаотическом виде: Я вошла и остановилась: близь рябины я увидела сад, настоящий, хорошенький садик с кустами и клумбами. Пестрели цветы: высокие лилии опрокинули свои желтые зубчатые вазочки; водосбор—свои гофрированные лиловые венчики; подле белой никоцианы алела гвоздика и роскошный георгин опустил малиновую головку. Кругом, жимолость сизыми бледнозелеными листиками оттеняла темную лакированную зелень сирени и все венчала старая рябина с ее изящными перистыми листьями и крупными кистями красных ягод. О, чудо! Как в настоящем саду, садик отделялся от остального пространства легкой проволочной оградой.

В мягком свете кончающегося дня, обвеянная теплым воздухом и ароматом резеды, я стояла и смотрела в задумчивом созерцании. Было так красиво... и так одиноко; перед глазами—садик, цветы, проволочная изгородь и кругом—высокие крепостные стены. Волна неопределенного чувства поднималась в груди, и неожиданно слезы хлынули из глаз.

Откуда эти слезы? Почему я плачу? невольно спрашивала я себя, не видя причины для грусти. Спрашивала и недоумевала.

...Вернувшись *домой*, как я уже привыкла называть тюрьму, и успокоившись, я поняла. *Этот* садик, созданный трудом товарищей в стенах крепости, *его* кусты, *его* цветы, *эта* решетка, так примитивно сплетенная в неправильную паутинку руками узника, напоминали *другие* сады, *другие* изгороди. Образы, унесенные со свободы, выплывали из темных глубин памяти, куда были запрятаны усилиями воли. Эти образы были погребены и, погребенные, поднимались теперь на поверхность со дна, на которое были опущены, и слезами протестовали, что их считали умершими.



Снято в 1880 г. летом.

ГЛАВА XXI.

Посещения сановников.

В первое десятилетие, каждые полгода, нас посещал какой-нибудь сановник из Петербурга. Это были: министры и товарищи министра внутренних дел, директора департамента полиции и разные генералы. Так, за долгий срок заключения мы перевидали целую плеяду высокопоставленных лиц, сменявших друг друга в высших правительственных учреждениях. Военные приезжали для ревизий военного отдела крепости и заходили к нам, так сказать, попутно; остальные имели специальной целью посещение политических заключенных, оставленных, не в пример обитателям всех других тюрем империи, в ведомстве министерства внутренних дел,—в частности, департамента государственной полиции.

Как только тюрьма была готова, из Петропавловской крепости в нее перевезли оставшихся в живых узников ныне уже не существующего Алексеевского равелина. Оставшихся в живых—потому что народовольцы: Ширяев, Баранников, Александр Михайлов, Колодкевич, Ланганс, Клеточников уже умерли, как умер и Нечаев.

С одной стороны, перевезли тех кто уцелел из осужденных по процессам «Народной Воли» 81-го, 82-го и 83-го гг. [1]), а с другой—каторжан (различных политических процессов), возвращенных из Сибири, куда они были уже отправлены. Этими возвращенными с Карийских рудников были: Мышкин, Юрковский, М. Попов, Буцинский, Долгушин, Кобылянский, Гелис, Игнатий Иванов, Минаков, Кржановский, Малавский и Щедрин.

В октябре, к первоначальным насельникам, присоединили меня и восемь человек других осужденных по процессу 14-ти: Людмилу Волкенштейн, Василия Иванова, Д. Суровцева, Немоловского и военных: Ашенбренера, Похитонова, Ювачова и Тихановча. Потом, из Харькова при-

[1]) Морозов, Богданович, Исаев, Грачевский, Тригони, Буцевич, Фроленко, Златопольский, Арончик, Клименко, Поливанов.

везли Манучарова, а в декабре—четырех народовольцев из Киева: Панкратова, Мартынова, Шебалина и Караулова. В 85 году наш состав увеличился Лаговским, а в 86-м—Яновичем и Варынским, осужденными по делу польского «Пролетариата». Дальнейшее увеличение произошло в 87-м году, когда привезли сначала Лукашевича и Новорусского, а позднее: Лопатина, Антонова, Конашевича, С. Иванова и Стародворского. В 88 году к нам присоединили Оржиха, после чего прошло 13 лет, пока в 1901 году явился Карпович, человек *поколения, народившегося без нас и открывшего новую полосу революционного движения.*

Первым высокопоставленным лицом, посетившим нас в январе 1885 г., был высокий, стройный, красивый генерал, товарищ министра внутренних дел, он же шеф жандармов—Оржевский, о котором я упоминала в главе «Расстрелы».

Я видела его два раза в департаменте полиции, когда после ареста меня привезли из Харькова.

Теперь в Шлиссельбургской крепости, когда Оржевский входил в камеру № 26, которую занимала я, обстановка и условия были не те, что в прекрасном кабинете его в департаменте полиции. Генерал был так же изящен, красив и элегантен, каким я видела его за рабочим столом с деловыми бумагами, а я тогда, хоть и была лишена свободы, не была еще осуждена и не стояла остриженная под гребенку [1]), в безобразном арестанском халате с бубновым тузом на спине, перед посетителем, явившимся в тюрьму, в качестве начальства. Мне бы подумать об этом контрасте положений и замкнуться в молчание, вспомнить о гордости, о которой не к месту заметил в департаменте полиции граф Толстой в присутствии Оржевского. Но я не подумала и не вспомнила.

Первая камера, направо от меня, была пустая, а за ней жил кто-то; я не знала, кто. Сначала, по вечерам, оттуда слышались тяжелые размеренные шаги: пять вперед, пять назад! Кто мог бы ходить такими крупными, тяжелыми

[1]) Когда меня привезли в крепость, гребенки мне на давали, при длинных густых волосах это было нестерпимо, и я просила, чтобы меня остригли.

шагами?—гадала я. И мне казалось, что это должен быть молодой, здоровый силач, сгибавший подкову, Баранников. Когда в Одессе сестра композитора А. Рубенштейна, однажды, завлекла меня на оперу «Демон», написанную ее братом, то наружность Демона была как-раз наружностью мрачного красавца Баранникова, и теперь его образ вставал в воображении, как только шаги неизвестного начинали вечером раздаваться справа. Молодой, здоровый богатырь, эта красивая эмблема террора, умер от цынги в Алексеевском равелине одним из первых. Убийственный режим подкашивал всего скорее организмы, казавшиеся наиболее крепкими, а люди слаб сильные оказывались наиболее стойкими и выносливыми. Так, несмотря на равелин и Шлиссельбург, выжил Н. Морозов, не раз в тюрьме страдавший кровохарканьем, худой и хрупкого телосложения. Через несколько недель шаги смолкли; в часы прогулки дверь в камеру № 28 не отпиралась: узник заболел. И днем, и ночью, когда бы я ни проснулась, я стала слышать не то короткий стон, не то маленький кашель, подобный стону, и этот звук не давал мне покоя: кто-то неподалеку от меня страдал, быть может, умирал. Но кто же? Баранников или кто-нибудь другой? Знаю я этого человека или нет? За каждой дверью, которую отворяли и с шумом запирали утром, когда койки поднимали к стене, и вечером, когда железо с лязгом ударяло в асфальтовый пол, я старалась угадать личность узника, запертого в келье, старалась подстеречь какой-нибудь признак, звук голоса или кашля, чтобы узнать кого-нибудь из друзей. Но из всей дверей, которых я насчитывала до 30-ти, эта дверь—через камеру—особенно приковывала мое внимание.

Налево, тоже через камеру от меня, я помещала Мартына Ланганса. Мартына, как и Баранникова, не было уже в живых. Но звенящий, больной голос Малавского, умиравшего в ней, вводил меня в заблуждение: он живо напоминал несколько певучий голос Ланганса.

Умирающий справа, умирающий слева. 28 человек известных и любимых, или же неизвестных, но связанных со мной одинаковой участью; 28 живых, но безмолвных,

как мертвые, и так же не знающих обо мне, как я не знаю о них—как было удержаться и молчать, когда попрежнему красивый, элегантный и спокойный Оржевский вошел ко мне в камеру и спросил: «Нет ли заявлений?» И я заговорила, заговорила тем бьющим по нервам голосом, звонким и дрожащим, как говорят при волнении узники после длительного вынужденного молчания. «Избавьте меня от ненужного мученья—от стонов больных и умирающих. Эти стоны и днем, и ночью не дают мне покоя... Переведите их подальше от меня... Неужели здесь для больных нет больницы?!»...

Оржевский, молча, выслушал и молча вышел.

Больной справа, больной слева остались на прежнем месте. Безрезультатны были и другие заявления, сделанные Оржевскому.

Василий Иванов принес жалобу, что по дороге в карцер за разговоры стуком, жандармы его били. Генерал обратился за подтверждением к тюремному врачу, на которого сослался Иванов. Но молодой военный врач, трус Заркевич, не подтвердил слов Иванова, хотя после избиения самолично приводил Иванова в чувство. Неудивительно, что на жалобу Оржевский пожал плечами.

А на заявление кого-то из больных туберкулезом, что истощенный организм не может переносить арестантских щей и каши, Оржевский с улыбкой заявил, что каша—отличная вещь, он очень любит и сам ест ее.

Осенью того же года явился другой сановник—П. Н. Дурново, которого я увидела тогда впервые.

В камере было холодно. В первые годы всегда было холодно. Быть может, скупились на дрова, или заслонка в коридорной трубе, проводившей пар в калорифер, не была вполне открыта, а я и не подозревала о существовании ее и никогда не заявляла смотрителю о холоде. Возможно, что ощущение холода зависело и от малокровия, которым я страдала, но только я и в камере оставалась обыкновенно в нагольном полушубке, в котором выходила на прогулку.

В полушубке я была и в тот час, когда, в сопрово-

ждении большой свиты, ко мне вошел Дурново, маленький, живой сановник, с лицом, выражающим самодовольство

— Почему вы в полушубке?—обратился он ко мне.

— Мне холодно,—ответила я

— Странно; я не нахожу, чтоб здесь было холодно,— возразил он

На щеках Дурново горел румянец; от него пахло портвейном. Повидимому, он только-что плотно и вкусно позавтракал у коменданта, в сопровождении которого пришел делать обход: немудрено, что ему было тепло

— Ощущение тепла и холода субъективно, сухо заметила я в ответ

Так—один любил кашу, до которой не дотрогивался туберкулезный больной, не имевший, кроме нее, ничего другого. Другому—было тепло после хорошей еды и возлияния.

...И еще раз приходил ко мне Дурново, года два или три спустя. Он вошел, как всегда, с двумя жандармами по обе стороны его особы и целой свитой из коменданта, смотрителя, его помощника и нескольких офицеров крепости. Такова, из предосторожности, была обстановка при всяком обходе нашей тюрьмы высокопоставленными посетителями. «Нет ли заявлений?» «Как здоровье?» задал он обычные официальные вопросы и затем вышел.

И вдруг сейчас же дверь снова отворилась и, оставив всю свиту в коридоре, Дурново вошел в камеру уже один. В эту минуту я стояла в своем халате, прислонившись спиной к стене, взволнованная и расстроенная, как всегда мы бывали взволнованы и расстроены при вторжениях в наше одиночество. Быстрыми шагами он приблизился ко мне, интимно положил руку на рукав моего халата и, ласково заглядывая в глаза, тихо молвил: «Скучно вам здесь?»

Глаза, наверно, выдавали меня, но я выговорила: «Нет!»

Рука с халата тотчас поднялась и уже совсем другим, официальным тоном, указывая на пучок овощей, лежавших

на железном столе, Дурново спросил: «Это из огорода?» и исчез.

Бо̀льшую удачу Дурново, искавший, очевидно, случая побеседовать с кем-нибудь из шлиссельбурцев, испытал в этот раз у Лопатина, коотрый вел с ним долгий разговор об условиях жизни в крепости.

Тугие на хорошее, эти господа не стеснялись, когда надо было принести дурное известие. Если через 5—6 лет заключения в крепости департамент поразил Яновича, известив его *одновременно о смерти семи близких родственников*, то другому узнику Дурново не задумался сообщить, что его жена вышла замуж за другого.

В 1889 г. посещение Дурново принесло большое несчастье нашей тюрьме, но об этом рассказано в главе о «Голодовке»

Другие посетители крепости составляли пеструю галлѐрею типов различного характера.

Приезжал неотесанный солдат, грубый, вызывающий фон-Валь, начальственным тоном обращавшийся, однако, больше к чинам тюремной администрации, чем к нам. У меня в камере этот добрый христианин обратил внимание на отсутствие иконы и спросил смотрителя, почему ее нет? «Заключенные снимают их», объяснил тот. Не желая входить в пререкания, я промолчала: иконы сняли жандармы и, должно быть, унесли к себе на дом, видя, что мы не молимся пред ними.

Приезжали—мягко стелет, жестко спать — вежливый, ускользающий, изящный Зволянский и типично-барственный бюрократ, снисходительно-величественный министр внутренних дел Н. И. Дурново. Все они спрашивали, нет ли заявлений, а когда их делали—толку выходило мало, но на нервы и грубые, и вежливые действовали одинаково: каждое посещение выбивало из колеи, нервы приходили в возбуждение, болела голова, тяжелее чувствовались условия тюремной жизни.

Много раз бывал у нас, как яблочко румян, добродушный генерал Петров, с которым Юрковский охотно вступал в разговоры; в результате, Петров обыкновенно уве-

рял, что Шлиссельбургская тюрьма образцовая и не оставляет желать ничего лучшего. К нему, как к обычному посетителю, всего чаще обращались с просьбами о книгах. В них всегда чувствовался недостаток: департамент присылал их чрез большие промежутки и в совершенно недостаточном количестве.

Три раза был у нас генерал Шебеко, но из трех—лишь один раз заходил ко мне. Это было в 1887 г. и мне пришлось сделать ему серьезное заявление. Незадолго перед тем нам впервые дали бумагу и карандаш. Оторвав от пустого места какой-то книги кусочек бумаги, я написала крошечную записку, несколько ласковых слов моему товарищу и другу, Юрию Богдановичу, и, расщепив переплет книги, искусно вложила записку, заклеив края черным хлебом. Первый опыт сошел благополучно, и я не удержалась от повторения. Тут вышла неудача: жандармы нашли записку. Смотритель Соколов рассвирепел. Он ворвался ко мне в камеру и в первый раз заговорил на «ты». «С тобой обращаются по человечески,—зашипел он с угрожающим жестом,—а ты этого не понимаешь! Записки вздумала писать! Я тебе покажу, как писать их!..»

Когда Шебеко спросил: «Нет ли заявлений?» я сказала: «Смотритель позволяет себе грубо обращаться со мной». Смотритель вмешался, перебивая: «Она недовольна, что я говорю ей «ты».—Совсем нет, живо возразила я; смотритель груб не со мной одной, а и с другими заключенными; недавно, по его приказанию, в старой тюрьме избили одного товарища (Попова), а другого—грубостью и придирками—смотритель довел до того, что он ударил доктора, желая покончить счеты с жизнью» [1]). Со мной же он говорит так, как порядочные люди не говорят с прислугой. Я заявляю: если это будет продолжаться—я дам отпор.

На это Шебеко проникновенным голосом, полным сочувствия, сказал: «*Вы имели несчастье* попасть в эту тюрьму: всякий отпор с вашей стороны только ухудшит ваше положение».

---

[1]) Это был Грачевский.

Я ожидала, что смотритель будет вымещать на мне злобу, но, вероятно, он получил соответственное внушение, потому что ходил совершенно удрученный и уже не подумал задевать меня, а вскоре затем, после самосожжения Грачевского, он был уволен.

Мягкое отношение Шебеко в случае со мной резко отличалось от того, какое он выказал при следующем визите. Началось с того, что, войдя к Шебалину, он обратился к смотрителю с вопросом: «*Это что за дерзкая физиономия?*» В следующей камере, у Тригони, на какое-то незначительное заявление, Шебеко разразился громогласными упреками на требовательность людей, лишенных всех прав состояния, и, выходя, рекомендовал смотрителю: «Розги, г. смотритель, розги!» То же упоминание о розгах он повторял у Конашевича и, наконец, у Л. А. Волкенштейн разразился целым потоком брани: «Вы отвратительно ведете себя», говорил он ей, «только и знаете, что сидите в карцере!» и т. д. и закончил фразой: «В инструкции есть розги!!»

Когда вся тюрьма узнала об этих, ничем не вызванных, грубых выходках Шебеко, сейчас же было решено, что надо реагировать на них и не допускать повторения. Все сошлись на предложении, сделанном мною, бойкотировать Шебеко и при следующем посещении не принимать его, ни с чем не обращаться; на вопросы—не отвечать. Жандармы подслушивали разговоры на прогулке, отчасти понимали разговор стуком. Можно было думать, что наш сговор не останется тайной для тюремной администрации, и что, в ожидании неприятностей, Шебеко больше не приедет. Однако, через год или полтора он явился, и к первой зашел к Л. А. Волкенштейн. «Ваша матушка»... едва начал он, чтоб передать ей первую весть о матери, как Волкенштейн, не взятая врасплох, прервала его словами: «От вас я не желаю слышать даже о матери»... Шебеко вышел и больше не заходил уж ни к кому.

Чем было вызвано его поведение во второй приезд к нам—осталось загадкой, в свое время не мало занимавшей нас.

Из других высокопоставленных лиц стоит упомянуть о Горемыкине. Старый, расслабленный и измозженный, он показался нам полнейшей развалиной физически, а духовно—человеком совсем из ума выжившим. Вопросы, крайне лаконические, которые он задавал, носили характер совершенно анекдотический. Так, у Панкратова он односложно вопросил: «Насекомыя?» Тот подумал, не о клопах ли спрашивает его превосходительство? Не идет ли речь об опрятном содержании камеры? Оказалось, министр слышал о коллекциях *по энтомологии*, которые составляли некоторые из нас.

Другим он также бросал односложно: «Камни?»—и смотритель, видя недоумевающий взгляд, разъяснял, что его превосходительство задает вопрос *о минералогических коллекциях*.

Когда очередь дошла до меня, я высказала жалобу на то, что мы совершенно лишены умственной пищи, так как, если раньше департамент хоть изредка снабжал нас книгами, то в последние годы всякий приток их прекратился, и мы обречены на полную умственную бездеятельность.

Некоторые товарищи сделали подобные же заявления. Это не осталось без результата: департамент определил, что на пополнение библиотеки ежегодно будет отпускаться 140 руб.

Было удовлетворено и другое заявление: многие указывали Горемыкину, в каком напряжении держит наши нервы пребывание рядом с нами двух психически больных: Конашевича и Щедрина. Непрерывное, однообразное пение одного и периодические буйные выходки другого постоянно тревожили тюрьму.

Оба были увезены в Казань, где, как неизлечимые, находятся и сейчас в лечебнице для душевнобольных. Третий душевнобольной, Похитонов, как уже сказано в отдельной главе, был увезен раньше.

Еще приезжал к нам Святополк-Мирский, а потом генерал Пантелеев. Приезд первого дал новый импульс для нашей индустриальной деятельности. С. Иванов просил разрешить передачу родным произведений нашей работы,

и это было разрешено. Каждый хотел послать что-нибудь своим близким и блеснуть искусным произведением своих рук. Я приготовила прекрасную минералогическую коллекцию на собственноручно выточенных блюдцах, коллекцию водорослей, мхов и лишайников и маленькую шкатулку из ореха, окрытую мозаикой с инициалами матери. Я была уверена, что все дойдет по назначению, как доходили посылки других товарищей. Каково же было удивление, когда впоследствии родные сообщили мне, что они ровно ничего не получили: «мы не хотим, чтоб эти вещи стали реликвиями», сказали в департаменте, когда кто-то из родных пришел получить их. Только благодаря настойчивости моей сестры Ольги, ей удалось выручить одну вещь: шкатулку с игрушками, которые я сделала для ее маленького сына. Остальные вещи так и пропали без вести.

Генерал Пантелеев, сухощавый старик живого темперамента, оказал Морозову содействие в том, чтоб его рукопись «О строении вещества» была передана для рассмотрения и отзыва химику, в котором он надеялся встретить сочувствие своим научным исканиям. Рукопись департамент, действительно, передал, но не тому лицу, которого выбрал Морозов, а химику Коновалову. Тот прислал хвалебный отзыв о труде Морозова, но, как сторонник неразложимости элементов, прибавил, что принципы Лавуазье на этот счет остаются в науке незыблемы [1])

Кроме разговора о рукописи, Пантелеев затронул и вопрос политический. «Вы боролись против самодержавия», сказал он тоном победителя, «но это самодержавие теперь крепче, чем когда-либо». Морозов, не побежденный, отвечал: «Пусть ваше мнение таково, но я остаюсь при убеждении, что только политическая свобода даст России возможность развиваться и процветать».

Министры Сипягин и Плеве не приезжали в Шлиссельбург. Мы даже и не знали в то время, кто стоит у власти. О Плеве, как министре, мы узнали из Энциклопедического словаря, когда пришел том на букву П.

---

[1]) С тех пор этот принцип отринут.

Что касается известия о Сипягине, то оно проникло неожиданно-чудесным образом. Молодой жандарм нестроевой роты, прислуживавший при раздаче пищи, подал Морозову за ужином пару яиц; они были завернуты в кусок газеты. Морозов развернул обрывок. Это было сообщение о покушении и о смерти министра. Чтоб каким-нибудь неосторожным словом не скомпрометировать жандарма, Морозов, передавая новость, всем говорил, что кусок газеты он нашел в огороде, куда ветер или другая случайность могла занести его.

Предшествующий рассказ был бы не полон, еслиб я не назвала двух лиц, которые, не принадлежа к серии тех, кто, в качестве представителей высшего надзора над русской Бастилией, являлся к нам в роли начальствующих,— нашли, тем не менее, доступ в запретный для всех Шлиссельбург.

Эти двое—были: высокий иерарх православной церкви, петербургский митрополит Антоний и аристократка, престарелая княжна Мария Михайловна Дондукова-Корсакова, сестра русского комиссара, вводившего конституцию в Болгарии, но о них будет сказано в отделе прибавлений.

ГЛАВА XXII.

Книги и журналы.

Я уже говорила, как бедна была тюремная библиотека при нашем поступлении в крепость, когда чтение представляло единственное доступное нам занятие.

С годами, книгами мы стали богатеть. Кроме всего того, что передавал нам Гангарт, кое-какой, хотя и очень беспорядочный, материал давали нам для переплета жандармы. Большею частью это были «приложения» к дешевеньким журналам, которые они выписывали для себя, нелепые романы с самыми забористыми названиями и описанием любовных и уголовных приключений. Чтоб воспользоваться даровым переплетом, иногда нас так перегружали этим

хламом, что мы отказывались затрачивать на него свой труд. В первое десятилетие тщетно, время от времени, мы составляли обширные списки сочинений, которые хотели иметь в библиотеке. Тюремное начальство отправляло их в департамент, а тот клал под сукно или отвечал с иронией, что на это непомерное требование пришлось бы затратить 100—200 рублей. А когда, при обходе камер одним из высоких посетителей, кто-то попросил книг для легкого чтения, ответом было, что беллетристику нам не дают, чтоб *нас не волновать*.

Однако, благодаря обращениям Морозова к посещавшим нас «особам», наш научный отдел понемногу пополнялся. Но особенно много хороших книг было куплено с 1895 года, когда при Гангарте у нас явились заработанные деньги и мы могли употреблять их на пополнение библиотеки. Как только накоплялось несколько десятков рублей [1]), мы представляли список нужных нам произведений, и они приобретались после местной и столичной цензуры; не обходилось при этом и без курьезов: однажды не дозволили выписать книгу Мертвого «Не по торному пути»... Не разобрали, что эта книга по агрономии; и в то время, как нам вернули отнятую в 89 году «Социологию» Спенсера—не разрешили выписать Коллинза «Изложение социологии Спенсера»... В дальнейшие годы были запрещены Горький и Чехов.

Я уже упоминала, что в 1896 году, после посещения Горемыкина, на пополнение нашей блиблиотеки департамент определил давать 140 рублей в год, предоставляя нам составлять список книг, разумеется, при этой же цензуре. В то время нас было 28 человек и возникал вопрос, что положить в основу составления списка? Одни считали высшим принципом решение по большинству голосов. При таком способе совершенно игнорировались индивидуальные потребности таких специалистов, как Лукашевич, Морозов, Янович, так как выписывались бы только книги, собравшие большинство. Другие предлагали 140 рублей делить на 28

---

[1]) Главным образом, благодаря неутомимой работе превосходного переплетчика Оржиха.

и предоставить каждому на приходящуюся долю выписывать то, что он хочет; если же доля для покупки недостаточна, входить в соглашение с другими для приобретения книги сообща. Эта система позволяла, отказавшись от своего пая или части его, помогать нуждающимся в дорогих специальных пособиях, и, когда после многих споров она была принята, мы стали вскладчину делать друг другу подарки. Так, Морозову мы выписали «Журнал Физико-Химического Общества»; потом, английский журнал «Chemical News»; а Яновичу—превосходный ежегодник на английском языке. В складчину стали выписывать немецкий еженедельник «Naturwissenschaftliche Wochenschrift» и английский журнал «Knowledge» и т. п. Надо сказать, что научными новинками интересовались все. Когда прочли о радии, о гелии,—вся тюрьма пришла в движение и разговорам о радиоактивных веществах не было конца; существует или не существует эфир? вопрос, по которому расходились Морозов и Лукашевич, возбуждал горячие прения, а первые новости об аэропланах были встречены с энтузиазмом[1]. «Откровение в буре и грозе» Морозова, написанное в Шлиссельбурге, объяснявшее Апокалипсис на основании астрономической карты неба, повергло всю тюрьму в волнение. Покачивая головой, Лопатин с соболезнованием спрашивал: «Уж нормален ли Морозов, обложивший себя Библиями на славянском и еврейском языках; не уклон ли это в mania religiosa?» А Антонов с восторгом объявлял, что Морозов гениален и будет европейской известностью.

Мы получали «Русское Богатство» спустя год после выхода; внутренее обозрение иногда вырезывалось, иногда оставлялось; получали «Мир Божий» и «Русскую Мысль». Однажды, при Гангарте, мне удалось выхлопотать «Вестник Европы» даже за текущий год.

В другой раз я уговорила его преемника Обухова да-

---

[1]) Разговоры на прогулке о блестящих перспективах воздухоплавания очень смутили наших сторожей-жандармов; обеспокоенные, они донесли смотрителю и тот немедленно потребовал то приложение к „Ниве“ в котором была соответствующая статья. Жандармы вообразили, что мы собираемся улететь.

вать нам газету «Сын Отечества» с условием возвращать немедленно по прочтении. В следующем году он на это уж не пошел, но смотритель Гудзь приносил нам еженедельную газетку «Воскресенье», а потом «Петербург». В них, хотя очень коротенькая, но все же была внутренняя хроника, из которой в 900 и 901 гг. мы знали о пробуждении России, студенческом движении, беспорядках, манифестациях и т. д.

Большое место в нашем чтении занимали два журнала, это были: с одной стороны «Хозяин», защитник промышленности добывающей, а с другой—«Вестник финансов», славословивший финансовую политику и покровительственную систему Витте, журнал, который нам аккуратно высылал сам департамент полиции. По своим прежним стремлениям большинство из нас тяготело к крестьянству и стояло за интересы земледелия; но были у нас и поклонники Витте. Так, Похитонов начал заговариваться именно на прославлении защиты интересов крупной промышленности и неумолчно рассуждал о благодетельности введения золотой валюты и винной монополии. Вообще же читали и интересовались этими двумя журналами решительно все. Только из них черпали мы сведения об агрономическом положении России, и они же давали главную пищу для обсуждения разных экономических вопросов, которые всегда были так близки нам. Когда на свободе происходили жаркие споры, выгодны или невыгодны для земледельческой России высокие или низкие цены на хлеб, то и мы задним числом волновались этим вопросом, сходились или расходились по поводу его. Иногда чтение «Хозяина» вело к курьезам, вызывавшим схем. Однажды, номер журнала был полон жалоб на земледельческий кризис, низкие цены и прочее, а тут как-раз жандармы купили нам луку для посадки и по обыкновению заплатили дорого. Тогда один из наших землеробов, указывая на статью и на цену лука, возмутился: «А еще говорят, что в земледелии кризис»... сказал он.

В связи с интересом к земледелию, стоит выписка нами журнала Демчинского, разрабатывавшего вопрос о влиянии фаз луны на метеорологические явления. Уверовал

в Демчинского наш землероб—М. Попов, усердно читавший все его писания.

Зимой 95—96 гг. Гангарт передал в переплетную журнал «Новое Слово». Новое слово! Мы не слыхали их за весь период, который прошел с тех пор, как 15 лет тому назад мы постепенно стали выходить из жизни, и последние, кто в 87 и 88 году пришел к нам, никаких «новых слов» нам не принесли. А теперь со страницы журнала целая лавина их обрушилась на наши головы и взмутила нашу застывшую жизнь. Молодая горячая мысль вызывала в нем на бой все дорогие нам начала народничества. Сыпались яростные нападки на крестьянскую общину и на ее место ставилась свободная инициатива личности; прославлялось благодетельное по результатам первоначальное накопление капитала путем неизбежного ростовщичества и кулачества; крестьянство, которое должно было пролетаризироваться, чтобы мужик, «выварившись в фабричном котле», стал социалистом, объявлялось мелко-буржуазным. Все эти «новые» слова народившейся русской социал-демократии имели действие идейной бомбы, неожиданно взорвавшейся в нашей среде. Ведь, первые ростки социал-демократического течения в 84 году были совсем не приметны: и развитие капитализма в России ставилось в литературе еще под сомнение[1]; среди революционной молодежи, преобладающее мнение было отрицательное. Теперь новое направление, уже окрепшее, жаждало завоеваний и побед. Вопросы ставились в самой резкой категорической форме. За стенами крепости яростная полемика бушевала по всему революционному фронту, но ни один отзвук борьбы не проникал к нам. Теперь в наших руках был журнал, талантливо и ярко отражавший происходившую борьбу. Фабричный котел, в котором должен был перевариться мужик, закипел в наших головах. Многое было больно и обидно; многое было очень едко, задевало самолюбие и уважение к любимым идеям и людям. Впечатление от журнала было, можно сказать, глубоко потрясающее: содержание било по самым дорогим идеям и убеждениям. Тотчас среди нас обо-

[1]) Статьи В. В.

значились различные лагери: одни торжествовали, другие чувствовали себя уязвленными. Лукашевич и Новорусский, эти террористы 87-го года, пытавшиеся повторить 1-е марта, заявляли, что были социал-демократами, хотя и держались тактики «Народной Воли». Их поддерживал народоволец позднейшего периода Шебалин и Янович, принадлежавший к польскому «Пролетариату». Примкнул к ним и Морозов. Им противостояли остальные—народники «Земли и Воли» и «Народной Воли». И вот, начались обсуждения, горячие споры, в миниатюре повторившие то, что происходило в этот период на свободе. Каждый защищал свое кровное и вносил в спор, одни—горечь обиды, другие—задор, верящий в победу, в то, что жизнь за него. И, как ни странно, наш ученый, наш объективный и осторожный естествоиспытатель Лукашевич, был самым ядовитым задирой и полемистом. Дело приняло, наконец, такой страстный оборот, что, однажды, я сказала: «Господа! в наших условиях мир между нами важнее теоретических споров. Я предлагаю прекратить нашу полемику». Были ли эти слова каплей масла на наше бурлившее крошечное море или все мы уж поняли, что сейчас не переубедим друг друга и лучше дать время улечься тому новому, что мы узнали из журнала,—только с тех пор наше разномыслие, не исчезнув, стало терять свою остроту и боевое настроение вошло в берега. Те же споры с нашими социал-демократами, которые вела я и Людмила Александровна в 5—6 клетках, происходили и в других местах, где горячился С. Иванов, возмущался и кричал М. Попов вместе со своим единомышленником Тригони. Впоследствии мы уже со смехом вспоминали, как разгорелись наши страсти и как язвительно Лукашевич нападал на меня, сторонницу общинного землевладения.

Вот эти-то дебаты, много выяснившие, и, если не сейчас, то позже, развившие свое влияние, и были причиной, почему Карпович при своем ознакомлении с нами в 901-м году сказал: «Все затронуты духом времени: один Попов стоит аки столп народничества».

По мере того, как мы становились богаче книгами и, в частности, научными пособиями, бумага, которую нам стали выдавать с 1887 года, приобретала все большее значение. Тогда, благодаря ей, мы могли облегчить свое круглое одиночество, отдаваясь лирике. Теперь для товарищей, избравших ту или иную специальность, была возможность накоплять необходимый научный материал, фиксировать его и, пользуясь собранными данными, заниматься творчеством в своей области.

Работая систематически изо-дня в день, Морозов мог создать одно из своих главных произведений: «Строение вещества», написанное таким увлекательным языком, что было истинным наслаждением читать его. Набрасывая множество статей, заметок и талантливых догадок по химии, физике и астрономии, он исписал целые стопы бумаги, которые при выходе увез с собой.

О том, какой богатый материал по статистике собрал и увез из Шлиссельбурга Янович, отдававшийся, в ущерб, своему здоровью, изучению экономических вопросов, я уже говорила.

Лукашевич, который из всех нас имел наиболее солидные знания в области естественных наук, задумал обширный труд: «Элементарные начала научной философии»; приготовил 3 и 4 томы, часть 5-го, большую часть 7-го, некоторые части и отделы остальных томов и, насколько это было возможно в Шлиссельбурге, подобрал материал для завершения всего произведения. По выходе из крепости он выпустил две части этого труда: «Неорганическую жизнь земли», за которую получил от Географического Общества золотую медаль, а от Академии Наук премию Ахматова.

Не имей мы бумаги, ничто из перечисленного не вышло бы в свет.

В то время, как названные товарищи занимались научными исканиями, другие давали нам произведения литературы. Я уже упоминала о прекрасных мемуарах Поливанова об Алексеевском равелине; Фроленко, под названием «Семейство Горевыхх», описал свое детство; Попов восстановил

написанные на Каре воспоминания о своем хождении в народ и мелкие рассказы, изображавшие типы крестьян, которых он встречал; Сергей Иванов написал рассказы из Сибирского быта; Юрковский, соперничая с Тургеневым, дал несколько глав начатого им романа: «Гнездо террористов».

Наряду с этим, Морозов обрадовал нас прекрасно написанным очерком; «На заре моей жизни» [1]), от которого так и веяло наивностью ребенка и романтизмом юноши, а Новорусский, нападая на мою статью, в которой главное влияние на умы семидесятников приписывалось литературе, дал интересное исследование той ломки всех экономических отношений, которую вызвало освобождение крестьян.

При скудости литературного материала, мы не раз делали попытки издавать свой журнал, но они быстро кончали свое существование. Издавали журнал: Лукашевич и Новорусский, их соперником и антагонистом был «Рассвет», издателями, редакторами и сотрудниками которого были: Сергей Иванов, Лаговский и Попов. Когда оба издания прекратились, задумали журнал, который должен был объединить всех. Ему дали название «Паутинка» и редакторами выбрали: Морозова, Лукашевича и меня. Название намекало на то, что журнал надеется завлечь в свои сети все таланты. Но и «Паутинка» выпустила только один номер. Было и еще одно покушение на внимание публики: Поливанов и Стародворский выпустили объявление: приглашая сотрудников, они обещали издавать ежемесячный журнал в размере «Отечественных Записок»—25—30 листов. Новорусский в памфлете, который обошел всех нас и был написал славянскими буквами, зло осмеял эту широковещательную рекламу. Надо было видеть расстроенное лицо Поливанова, совершенно подавленного этим язвительным листком: «Убили младенца, прежде чем он родился», говорил он, почти со слезами на глазах.

Младенец не был, однако, убит—он родился. Но какой тощий и худосочный! Он умер тотчас же, так как был раз-

---

[1]) Впоследствии этот очерк был напечатан.

несен в клочки критикой Яновича, обрушившегося колоннами цифр на статью Стародворского, который делал сравнение промышленности Московского *района* с промышленностью всего Царства Польского. После этого «смертоубийства» других попыток изданий не было.

Обыкновенно, не ценят ни здоровья, ни света, пока не лишаются их; не ценят и бумагу, которая в обыденной жизни всегда под рукой. Но тот, кто знаком с историей государственных тюрем, знает, какое лишение долгие годы не иметь бумаги, которая дает возможность набрасывать мысли, занимающие ум, и запечатлевать знания, если есть возможность приобретать их.

Наша жизнь в Шлиссельбурге была лишена всякого разнообразия, всех бодрящих стимулов и то, что давали товарищи, было ли это стихотворение, вызывающее сочувствие, критику или смех, или серьезная вещь, возбуждающая новую мысль—все было желанным даром, невозможным без бумаги и пера.

Наша жизнь была бедна, очень бедна во всех отношениях.

Когда Лукашевич рисовал свои первые геологические карты, то для черной краски брал копоть с лампы; для голубой—скоблил синюю полоску на стене своей камеры, а для красной—употреблял собственную кровь.

ГЛАВА XXIII.

Наш Вениамин.

В рассказе «Счастье Ревущего Стана» Брет-Гарт описывает, как в лагерь Клондайкских золотоискателей разлившийся горный поток принес мать, вскоре умершую, и ребенка, и как беспомощный ребенок становится, для искателей золота и приключений, источником неожиданных радостей—счастьем.

Подобным счастьем и источником живительной радости явилось для нас появление в крепости Карповича, которого в порыве нежности мы тотчас окрестили Вениамином.

Известна его история: 12 февраля 1901 г. он приехал в Петербург из Берлина и 14 февраля на приеме у министра народного просвещения, Боголепова, стрелял и ранил в шею этого душителя университетской молодежи. Это при нем, при Боголепове, после студенческих беспорядков 1900 г. были применены утвержденные в 1899 году правила об отдаче студентов в солдаты за беспорядки и по *приговору* профессоров 183 студента киевского университета и 27 петербургского были сданы в солдаты.

Эта мера, в связи с несколькими самоубийствами сту- студентов, брошенных в казармы, возмутила всю интеллигенцию, всю учащуюся молодежь и произвела громадное впечатление на Карповича, который до Берлина сам был участником университетских волнений и, как студент, дважды подвергался исключению.

Дважды выброшенный из университетов за участие в борьбе студенчества против полицейских порядков и нравов, водворяемых министрами народного просвещения в храмах науки, кровно связанный со студенчеством общей борьбой, симпатиями и переменами своей собственной судьбы, Карпович, придававший студенческому движению громадное политическое значение, решил оказать вооруженный протест против главного виновника расправы со студентами. Не будучи членом никакой революционной организации, он единолично задумал свое выступление и, спешно приехав из-за границы, единолично, без чьей бы то ни было помощи, выполнил его. Боголепов умер от раны, а Карпович в марте 1901 года был приговорен Петербургской Судебной Палатой к 20 годам каторжных работ и отправлен в Шлиссельбург.

Своим актом Карпович защитил учащуюся молодежь: после его выстрела сдача в солдаты уже не практиковалась. Своим выступлением он одушевил молодежь, которая назвала его «Смелым Соколом», и из среды этой молодежи вышел Балмашев, через год совершивший уже от имени социалистов-революционеров подобное же самоотверженное дело.

После процессов 1887—88 гг. к нам в крепость не привозили ни одного человека с «воли». Нас оставалась маленькая горсточка—всего 13 (из них 9 вечников). В этом малом числе мы были обречены жить без всякого притока свежих людей, вращаясь в кругу одних и тех же идей, чувств и настроений, без всякой продушины на вольный свет.

И в серой тюремной жизни год за годом меркли надежды, потухали ожидания, тускнели и стирались даже воспоминания. Мы ждали смены, ждали новых, молодых товарищей; но тщетно—смены не было и не было.

Среди таких настроений, в конце марта, Антонов сообщил нам, что крепостные ворота отворились: привезен «новенький» и проведен в канцелярию, а когда мы были на прогулке, в начале 11-го часа, среди жандармов произошло движение: они заходили к каждому из нас и объявляли, что желающие итти в камеру или мастерскую должны сделать это сейчас же, так как позже выпускать с прогулки не будут.

Товарищи догадались, что нового узника поведут с крепостного двора в тюрьму и те, кто, забравшись на подоконники, надеялся увидеть новоприбывшего, поспешили уйти в камеры. Я не пошла: мне было тяжело, как будто я присутствовала на похоронах кого-то близкого и дорогого. Действительно, разве это не были похороны? Хоронили молодую жизнь, неистраченную энергию, неисчерпанные силы. Так и мы, 17 лет тому назад, входили в эту крепость, чтобы на долгом пути долгого периода нести сознание бесплодия своей жизни. Так понесет это сознание и он.

А по рассказу Антонова, высокий, стройный, он шел на эту жизнь бодрыми шагами; на нем не было оков, в которых привозили нас; не было арестанского халата с тузом на спине, и, улыбаясь, он махал шляпой, делая привет по направлению к окнам тюрьмы.

Появление Карповича вызвало среди нас сильнейшее волнение: мы, люди старого поколения, должны были впервые встретиться лицом к лицу с представителем молодежи, выросшей и возмужавшей за время нашего отсутствия из

жизни. Как мы встретимся? Что найдем друг в друге? Будет ли между нами взаимное понимание, гармония мировоззрений? Что принесет в пустыню тюрьмы этот пришелец из потустороннего мира: какие вести, какие настроения? Кого найдем мы в нем: родного сына или чуждого нам подкидыша?

В 1901 году порядки в тюрьме были уже не те, что в 1884 году: изолировать Карповича, помещенного рядом с нами, теперь было немыслимо. Проходя мимо его камеры или той клетки, в которой он гулял, можно было остановиться и сказать несколько слов. Эти несколько слов легко могли перейти в длительную беседу, и мы тотчас воспользовались всеми средствами, чтоб войти с ним в тесное общение. Переговариваясь стуком в стену и беседуя через дверь, мы получили первые сведения о том, что делается на свободе. Желая знать больше, мы просили Карповича писать и зарывать написанное в землю на месте его прогулки, а потом кто-нибудь откапывал и передавал листки всем для прочтения. Мы хотели знать обо всем, во всех подробностях как о внутренней жизни России, так и о событиях и отношениях в Западной Европе. И Карпович оказался на высоте положения, так как, будучи студентом, вел деятельную, подвижную жизнь, а потом некоторое время жил за границей.

Его радостные вести оживили наши души. По его словам в России все находилось в движении: рабочий класс, к 80-м годам едва намечавшийся, теперь, как класс промышленного пролетариата, приближался к типу западноевропейскому. Объединенный, он с шумом выходил на общественную арену; требовал улучшения своего экономического положения, выступал организованно в стачках, охватывающих десятки тысяч рабочих, и на улицах городов демонстрировал свою грядущую силу. Возросшая численно молодежь высших учебных заведений, разъединенная в 70-х годах, теперь была объединена по всей России и, составляя одно целое, поднимала бунт против полицейских порядков государственного строя, в тисках державшего университеты. Волна студенческого движения беспрерывно

перекатывалась по лицу земли русской, заканчиваясь сотнями арестов и тысячами высылок. В каждом городе существовали нелегальные типографии, издавались революционные листки, прокламации и газеты. На место каждой арестованной тотчас появлялась новая типография и агитация продолжалась с новой энергией и силой. «Через 5 лет в России будет революция», предсказывал Карпович, и он ошибся лишь в том, что революция произошла не через 5 лет, а через 4 года. Но мы, ушедшие в тюрьму среди безмолвия народных масс и безгласия всех общественных элементов, не знали верить ли такому предсказанию—боялись верить. При нас все оставалось неподвижно, протеста, кроме нашего, не было. Все спало. Ужели проснулось? Но почему же мы оставались одиноки в своем заточении? Почему к нам не присылали новых товарищей, если битва кипит, народ пробудился и рвется к победе? Ведь места в нашей тюрьме много, слишком много! Его очистили наши покойники. Почему же никто не пришел заместителем? Не преувеличивает ли Карпович? Не увлекается ли иллюзией, естественной в человеке, только-что оторванном от политической борьбы?

При благой вести, принесенной Карповичем, всколыхнулись наши души, всколыхнулась и наша тюремная жизнь. Как ни легки были тюремные условия, встреченные Карповичем, сравнительно с тем, что приходилось выносить нам в первое десятилетие, он не хотел мириться с ограничениями, которые были сделаны по отношению к нему: ему не позволяли работать в мастерских и не давали прогулки вдвоем. Эти ограничения не имели смысла, потому что постоянные сношения его с нами происходили и без совместных прогулок, а лишать человека, приговоренного к каторжным работам, возможности работать было уже совсем ни с чем несообразно и Карпович не намеревался подчиниться такому режиму. На этой почве, с самого поступления его в крепость, начались конфликты с тюремным начальством, которое, мы знали, не могло изменить предписаний, исходивших из Петербурга. Но Карпович был новичком и думал, что давлением на смотрителя и коменданта можно

добиться всего. Два раза он предпринимал голодовку, которая крайне волновала нас, потому что, естественно, мы не могли оставаться безучастными к его протестам.

В первый раз дело кончилось тем, что временный военный врач, приезжавший из Петербурга, посредством обманных обещаний уговорил Карповича прекратить голодовку. В другой раз он перестал принимать пищу после того, как нам было объявлено, что останавливаться у двери его «клетки» на прогулке нам более не позволят. Мы тоже не хотели подчиниться этому и перестали выходить из камер. После 5—6 дней голодовки Карповича мы забили тревогу и по чувству солидарности очутились перед необходимостью начать голодать. Помня прежний опыт, я уклонилась от соглашения с другими, но мысленно уже решилась на это, когда Фроленко упросил меня переговорить с комендантом и настаивать на том, чтобы все осталось попрежнему. Обухов пришел крайне взволнованный, весь красный от замешательства и, несмотря на мои доводы, решительно отказался допускать разговоры с Карповичем. Но я догадалась поставить вопрос: неужели будет применена физическая сила против нарушителей запрета? «Нет, физическая сила не будет применена», сказал Обухов. Большего и не потребовалось, и по моему предложению все, в том числе и Карпович, вышли на прогулку, а я взяла на себя стоять у его дворика и целый час проговорила с ним. Этим вся история и кончилась [1])

Карпович не руководился нашим опытом и в своих действиях проявлял импульсивность, иногда без всякой нужды вызывая столкновения с начальством. Однажды, по просьбе некоторых товарищей департамент прислал в тюрьму дантиста. Понятно, во избежание доноса, в тюрьме следовало соблюдать порядок. Но Карпович вздумал петь и, развернув свои обширные голосовые средства, наполнил все здание звуками какой-то арии. Напрасно смотри-

---

[1]) На прогулку не вышел Лопатин, который по какому-то недоразумению считал, что мы добиваемся для Карповича прогулки вдвоем; с этого дня Лопатин не покидал свою камеру до тех пор, пока эта прогулка не была ему дана, что случилось много месяцев спустя.

тель раза 2—3 подходил к нему, прося перестать, Карпович не слушался. Тогда смотритель увел его в здание старой тюрьмы, где он и пробыл 2 или 3 дня

Так после приезда Карповича шла наша жизнь, перемежаясь стычками и столкновениями по разным поводам.

Через 2 года период ограничений кончился и он вошел равноправным членом в нашу тюремную семью.

Когда я увидела его в первый раз, он казался моложе своих 27 лет и имел очень скромный вид и тихую вдумчивую речь. Прекрасные большие серые глаза, обрамленные очень длинными ресницами, казались черными, так сильно они затеняли их. Эти глаза часто были застенчиво опущены, придавая лицу что-то девичье. Общее выражение бледного матового лица с небольшой бородой было доброе и мягкие черты совершенно не обнаруживали суровой решительности, необходимой для того, чтоб поднять руку на ближнего.

Его отношение к нам было отношением родного сына и опущенные ресницы говорили о нежной почтительности, которую он принес по отношению к узникам русской Бастилии, когда входил в нее.

При первом же знакомстве мне бросилось в глаза, что он отличается не тонким, развитым умом, а здравым смыслом, не образованностью или начитанностью, а тем знанием, которое черпается из практики жизни и общения с людьми. Было ясно, что это не человек умственного труда, способный в заключении жить книгой. И в самом деле, как только двери мастерской открылись для него, он с увлечением отдался физическому труду, сначала в столярной, а потом в кузнице, где присоединился к Антонову и стал его неизменным товарищем по работе. На прогулке я часто видала его через решетку в коротком нагольном полушубке; на лице были следы копоти, на руках—темный налет металлической пыли, как у настоящего профессионального рабочего; и весь он сиял здоровой радостью, которую дает любимый физический труд. Под руководством Антонова он сделался искусным слесарем и вместе с ним

делал изящные вещи, сахарные щипчики и другие изделия, которые дарил нам.

Мы, старые шлиссельбуржцы, были старше Карповича кто на 10, кто на 20 и более лет, и уже одно это определяло наше отношение к нему, как к сыну. Мы изголодались по свежим людям и относились к нему с особенной нежностью; для нас его «молодая готовность», как называл Лопатин стремительность, с которой наш Вениамин, не моргнув глазом, нарушал тюремную дисциплину (напр. взбирался, как кошка, на забор и перескакивал в соседнюю клетку), имела в себе что-то пленительное, как мальчишеская шаловливость, задор, не считающийся ни с какими преградами, от нарушения которых мы отвыкли. Со стороны духовной мы с радостью видели, что между нами, старыми революционерами, и им, представителем нового революционного поколения, нет той пропасти, того непонимания психологии друг друга, которого мы опасались при известии о неожиданном прибытии в крепость нового узника [1]).

ГЛАВА XXIV

Через 18-ть лет.

Попрежнему стояли белые стены крепости с угловыми башнями, похожими на неудавшиеся пасхальные бабы, и попрежнему наглухо были заперты крепостные ворота. И речные воды попрежнему то лежали зеркалом, то с буйным шумом бросались на плоские берега маленького острова в истоках Невы.

А внутри тюрьмы все изменилось.

Ее, прежде многочисленное, население к концу 1902 г. сильно сократилось: нас оставалось всего 13 [2]). Одни—зна-

---

1) Биографические сведения о Карповиче помещены в моей книге: „Шлиссельбургские узники". В ней рассказано и о трагическом конце его. Изд. „Задруги". М. 1920 г.

2) Фроленко, Морозов, Василий Иванов, Ашенбреннер, Антонов, Лопатин, Сергей Иванов, Стародворский, Попов, Новорусский, Лукашевич, Карпович и я. Тригони увезен в начале, а Поливанов—осенью 1902 г.

чительное большинство—умерли от цынги и туберкулеза; другие—кончили срок; некоторые были амнистированы, а трое душевно-больных увезены в 96-м году в больницу.

Для 13 оставшихся существовал прежний персонал охраны: на каждого узника приходилось 20—25 человек стражи и содержание каждого заключенного обходилось, благодаря этому, не менее 7.000 р. в год—по тогдашнему сумма крупная.

Заряженные револьверы в корридорном шкафу попрежнему лежали на полках, но суровые времена отошли в прошлое.

Первый смотритель, Соколов, сохранялся в памяти, как злое предание, неразрывно связанное с гибелью Минакова, Мышкина, Грачевского и с возмутительными сценами со Щедриным, впадавшим в буйство, и с некоторыми из тех, кого уводили в карцер за стук.

Ушел, за достижением предельного возраста, и старый ябедник, Федоров, бывший после Соколова смотрителем почти целые 10 лет. Это десятилетие было временем переходным: в течение этого времени, под непрерывным натиском обитателей тюрьмы, шаг за шагом, завоевывались, расширялись и получались разные льготы.

Кое-где в отдельных камерах еще висела несорванная инструкция 1884 г. Но на практике уж не было речи о «хорошем поведении» и о совместной прогулке, пользовании огородом и мастерскими, как награде за него. Все эти льготы давно стали достоянием всех: всякое разделение на категории исчезло.

После голодовки из-за книг, как бы взамен пищи духовной, нам улучшили пищу телесную: стали давать чай и сахар на руки, ввели белый хлеб, увеличили суточную ассигновку на питание с 10 к. до 23-х.

С этого времени медленное умирание от истощения прекратилось и здоровье всех, оставшихся в живых, стало заметно улучшаться.

Прогулка с первоначальных 40 минут постепенно удлинялась. Теперь почти весь день мы могли оставаться на воздухе и уходили с прогулки только в мастерские. Одно

время, летом, нас выводили даже после ужина, который давали в 7 часов вечера. Каким праздником эта прогулка была для нас, давно забывших, что такое *летний вечер!*

Мы выходили в 8-мь часов—всего на полчаса. Но какие это были чудные полчаса! Воздух, прохладный и влажный от близости реки и озера, непревычно ласкал лицо, и грудь дышала так свободно... На небе зажигались звезды; на западе в красках потухала заря; очертания тюрьмы, заборов и каменной громады крепостных стен становились менее резкими, стушевывались и не так кололи глаз, как днем. Давно заснувшая, смягчающая эмоция просыпалась в душе: все было необычайно кругом и в душе тоже было необычайно.

Свет! Что может быть дороже света?—Нам дали его. Полусумерки камеры, с ее матовыми стеклами, *черным* полом и стенами, *окрашенными в свинец*, со всеми этими приспособлениями к тому, чтобы убить бодрость и свести к минимуму темп жизни—все исчезло. Желтый пол, голубовато-светло-серые стены, прозрачные стекла (сначала в верхней, но потом и в нижней части рамы) стерли следы темного ящика, где заключенный должен был чувствовать себя полумертвецом. Света теперь было достаточно. Дали больше и воздуха. Вместо небольшой форточки, которую первоначально открывали жандармы во время короткой прогулки—всю верхнюю часть рамы можно было откинуть и оставить открытой хоть на все 24 часа. Сколько раз с тех пор я могла прислушиваться к ритмическому прибою набегающих волн и как будто видеть всплески брызг, разбивающихся, казалось, о самые стены крепости...

Однообразие дня, который можно заполнить только чтением, одним только чтением, как бы не была утомлена голова—это однообразие кончилось. Вместо одиночества с книгой в руках—через решетку виделись лица товарищей, слышался их голос; велись с ними коллективные занятия на воздухе, и труд умственный перемежался с трудом физическим у верстака, за токарным станком или в переплетной [1]). И самая книга была уже не та: вместо 160—170

[1]) Я занималась всеми ремеслами.

названий всевозможного хлама наше книгохранилище разраслось за 18 лет до 2.000 томов разнообразного как серьезного, так и легкого беллетристического содержания.

Обращения с нами, если исключить крупные столкновения Мартынова и Лаговского со смотрителем Федоровым (в начале 90-х годов), установились корректные.

Когда Федоров вышел в отставку, департамент полиции прислал на должность смотрителя человека, который с гордостью рекомендовал себя, как академика, и хвалился, что он читал Писарева. Быть может, благодаря дипломированному образованию, (нисколько однако не затронувшему ум этого ограниченного человека), его и приставили к нам, предполагая, что он сумеет держать себя со старыми революционерами. Гудзь был человек лет 34—35, сухощавый, с мелкими чертами моложавого незначительного лица и столь же незначительным характером. Мелкий формалист, пристававший по всяким пустым поводам, он не был находчив, этот «Гусь»,—как мы звали его. Когда надо было чего-нибудь добиться, речистые товарищи всегда умели заговорить его. Смущенный, он не находил нужных аргументов и отступал или уступал. Жандармы, как мы позднее узнали, не терпели его за мелочные придирки и педантизм в соблюдении правил воинского устава. Они рассказывали, что, блюдя свое офицерское достоинство, он требовал, чтоб даже жены унтеров при встрече отдавали ему честь, и, когда его уволили после истории, в которой я была действующим лицом, выражали свое удовольствие в такой форме: «Дай Бог здоровья «одиннадцатой», (т.-е. мне), что его от нас убрали».

Во всяком случае, Гудзь не был злым; он отличался большой бестактностью, но в ней всегда чувствовалась ограниченность ума, а не злость, к которой он, кажется, был вовсе неспособен. Он не умел, как следует, поставить себя; не знал, как держать себя и в качестве смотрителя у нас был, решительно, не на своем месте. Благодаря этому и слетел с него.

К 900-м годам высшие власти в Петербурге как будто забыли, что в 35 верстах от них, в крепости, содержатся

важные государственные преступники: у них, этих властей, и без нас дела было по горло. Могучее развитие социал-демократического движения, непрерывные студенческие беспорядки, выступления на политическую арену народившегося к тому времени промышленного пролетариата, громко заявлявшего о своем существовании, поглощало все внимание правительства. Революция решительно выходила на улицу, и красные флаги поднимались на городских площадях всей России... Где уж тут было думать о горсточке Народовольцев начала 80-х годов!

Почти четверть века прошло после 1-го марта, и вместо прежнего затишья—жизнь поднималась все более высокой волной; бодрое веяние протеста чувствовалось по всей стране... Высокие сановники прекратили свои регулярные посещения Шлиссельбурга. Жандармы из Алексеевского равелина один за другим оставляли службу за выслугой пенсии, а оставшиеся поседели, оглохли, привыкли к охраняемым и... смягчились.

Некогда, словно истуканы стояли они с застывшими лицами при обходе камер смотрителем Соколовым. Слышали или не слыхали обращений к ним—они казались глухи. Никогда смотритель не оставлял их наедине с нами. Теперь—это случалось; их языки развязались; порой, когда вблизи не было более молодого товарища-шпиона, они вступали в целые беседы: они уже не боялись тяжелой ответственности; не опасались ни бунта, ни возможности побега: револьверы в шкафах, припасенные на этот случай, вероятно заржавели от неупотребления.

Если высшее начальство забыло нас, какие мотивы могла иметь тюремная администрация к тому, чтобы в пределах тюрьмы стеснять нас? Возжи ослабели: лишь бы не случилось чего-нибудь из ряду выходящего! Как бы не переполошилось отчего-нибудь высшее начальство в Петербурге! Как бы не дошло до ушей его чего-нибудь, заслуживающего нагоняя.

В тюрьме, в пределах нашей ограды, мы были господами положения. Если в тюремном здании раздавался шум голосов, крик и подчас брань, они исходили не от тюремного

начальства, но от того или другого заключенного, особенно несдержанного и раздражительного. Не смотритель кричал—на него кричали.

В стародавние времена эти стычки приводили меня в ужас. Известно, чем кончались они при Соколове: карцер, смирительная рубашка, жестокое избиение... Каждый раз я боялась, что дело дойдет до оскорбления действием. Теперь можно было знать наперед, что кроме крупных разговоров ничего не будет... В общем было затишье...

...Помню, какой болью отозвались в моей душе слова Тригони, сказанные как-то незадолго до его отъезда: «*Никто из нас уж неспособен на энергичный протест*»...

Да. Сомненье могло закрасться... Сомненье в угасании духа.

Но на чем было проявить этот дух, не мирящийся с гнетом? Против чего протестовать? чего добиваться, за что бороться?—Жизнь решительно не давала к этому поводов.

13 лет не было переписки с родными. Но в 97 году дали ее. Поздно, но дали. Свиданий с родными не давали. Надо ли, можно ли было добиваться этих свиданий? Не от местных властей зависело разрешение, а от далеких министров и еще выше. И к чему были бы эти свиданья? Не новым ли мучительством оказались они? Не лучше ли было не будить похороненных чувств и воспоминаний?..

Итак, все, что своими силами и силою времени можно было завоевать и получить, оставаясь в пределах тюрьмы, было завоевано и получено. Острота чувств и переживаний смягчилась и мы походили на людей, которых буря выбросила на необитаемый остров, затерянный в необозримом океане. Горсточке новейших Робинзонов оставалось, без надежды воссоединиться с остальным человечеством, поддерживать, насколько возможно, свои умственные силы и возделывать мирное поле труда.

...Покров забвения ниспал на наши души... В 1902 г. для многих, в том числе и для меня, прошло около 20 лет со времени ареста, для некоторых и того больше. Если бы помнить все, как помнилось тогда, двадцать лет назад,

нельзя бы выжить. И духовное начало постепенно приспособлялось, чтоб сохранить жизнь. Долгий, тяжелый период приспособления кончился; кто не умер, не убил себя и не сошел с ума—пришел в равновесие. Время, как паутина, затянуло то, что кровоточило: забылось или, если не было забыто, было забито силою воли. Страданье, жгучее и острое, было побеждено. И если в душе все стихло и забвение вступило в свои права, то мнилось, что и весь мир забыл нас. Не только начальство в столице, но и все на свете: не верилось, что помнят родные—ведь и мы забыли их. Не верилось, что наши имена сохранились в памяти тех, кто шел вслед за нами, но не знал нас лично. Ведь, у нас, за 20 лет, в памяти о людях осталось пустое место—и ни одного, ни одного имени.

„Заброшены бурей и всеми забыты...
На воле уж новое племя
Возникло; смеется, не помнит меня.
Я дал им огня,
Им солнце зажег я, сам темный, стеня
Все время, все время“ [1]).

ГЛАВА XXV.

Погоны.

Среди затишья и полного спокойствия, установившегося к 1902 году, в тюрьме неожиданно разразилась беда, и твердое, как нам казалось, здание наших, по крупицам собранных, приобретений распалось, как жалкая игрушка.

2-го марта мы пришли с прогулки часу в 5-м вечера и камеры были заперты, когда я услышала шум отпираемых по очереди дверей, что показывало, что происходит какой-то необычный у нас обход. Загремел замок и в моей двери; вошел смотритель с 2—3 жандармами.

«Комендант недоволен беспорядком в тюрьме», произносит он с важным видом своим негромким тусклым голосом. «Этому должен быть положен конец, и с сегодняш-

---

[1]) Бальмонт.

него дня *инструкция* будет применяться в полной мере», заканчивает он и собирается уходить.

— В чем дело? Какой беспорядок?—говорю я.—Никаких замечаний нам не делали—совершенно непонятно, чем вызвано ваше заявление.

«Комендант недоволен. Инструкция будет применяться с сегодняшнего дня», повторяет он. «Ничего больше сказать не могу».

— Уж не случилось ли чего на воле,—спрашиваю я, зная, что происходящее на свободе обыкновенно отражается репрессиями в тюрьме.

«Ничего не знаю».

— Но откуда исходит это распоряжение: из Петербурга или отсюда?

«Отсюда», отвечает смотритель, поворачиваясь к двери.

— Мы не можем подчиниться инструкции,—говорю я ему в догонку,—она связывает по рукам и ногам. При ней дышать нельзя: нарушения неизбежны; вам придется сейчас же готовить карцер.

«И приготовим», спокойно произносит смотритель.

Подобные же краткие разговоры происходят и в других камерах.

Мы взволнованы, встревожены и недоумеваем: откуда такая напасть? Состояние тюрьмы совершенно не давало к тому повода: жили мирно, никого не трогали и нас не трогали, почему же нам грозит восстановление старого режима, уничтожение всех маленьких улучшений, завоеванных на протяжении многих, долгих лет? 18—20 лет, а некоторые больше, мы в тюрьме. Мы устали, состарились в ней. Кажется, можно бы дать нам покой и мирный труд. Так нет же, опять хотят историй, шумных столкновений и стычек. Старой инструкции мы вынести уже не можем: мы не новички, наше настроение не то, что было в первые годы. Наши нервы обнажены и не могут не реагировать с неудержимой силой.

Тревожен и беспокоен этот вечер: кто лихорадочно бегает взад и вперед по камере; кто неподвижно лежит на койке; не читается книга и падает из рук. Иной со-

вещается то с одним, то с другим соседом путем традиционного стука в стену. Нервы напряжены, как натянутые струны: что предстоит нам? Чем вызвана репрессия? Опять неизвестность. Опять мы «Слепцы» Метерлинка. В тюрьме все было благополучно—значит, на воле что-то произошло? Какая-нибудь катастрофа? Событие мировой важности? Воображение работает, возбуждение растет, и в ту же ночь прорывается в сценах, не бывалых в стенах Шлиссельбурга даже в первые годы.

В 10-м часу настороженное ухо слышало, что в дальнем конце дверная форточка одной камеры верхнего этажа была отперта, а потом хлопнула. Минут через 10 тот же звук повторился и послышался краткий разговор. И в третий раз произошло то же самое.

В нижнем этаже началось движение; затем дверь той же далекой камеры верхнего этажа была отперта и жандармы потащили из нее что-то тяжелое. Было ясно—несут человеческое тело: толпа жандармов несла кого-то за руки и за ноги. Послышался хрип.

В одну минуту вся тюрьма стала у дверей и с напряжением слушала; мыслью каждого было: кто-то покончил с собой, и каждый стал звать дежурных, спрашивая, что случилось. Жандарм приоткрывал «глазок», но ни один голос не отвечал.

Внезапно раздался голос коменданта и пронеслось слово: «Развяжите!»

Значит, кто-то повесился... Руками, ногами, книгами, шваброй каждый бил в дверь и кричал: «Что случилось?»

Голос коменданта ответил: «28-й нарушает дисциплину»[1].

Как! Человек покушается на свою жизнь и это называют нарушением дисциплины?!

Все двери загрохотали. Кто-то на всю тюрьму закричал: «Караул»! Оглушительные удары сыпались справа, слева и внизу, и наверху. Тюрьма неистовствовала.

И в третий раз повелительно раздался громкий голос коменданта Обухова: «Доктора!»

---

[1]) Сергей Иванов.

Яростное безумие охватило нас: тюрьма превратилась в буйное отделение умалишенных...

Наутро, измученные, с упавшими нервами, мы вышли в 8-мь часов на обычную прогулку. Ближайшие соседи Сергея Иванова объяснили в чем дело. Раздраженный частым заглядыванием в дверной «глазок», он отказался снять бумажку, которою закрыл стекло.

Напрасно смотритель три раза уговаривал его не делать этого. Иванов не повиновался; тогда жандармы надели на него смрительную рубашку и, при насмешках коменданта, связали ослушника, а затем понесли в соседнюю пустую камеру, которая на этот раз должна была служить карцером; но, когда жандармы выносили его, с ним случился припадок истеро-эпилепсии, как объяснил потом тюремный врач.

Тогда-то комендант и крикнул: «Развяжите!» и мы решили, что кто-то повесился.

Сергей Иванов лежал в обмороке, и жандармы старались привести его в чувство, но после бесплодных усилий пришлось крикнуть: «Доктора!»

По той или другой причине он пришел не тотчас же, а потом не сразу мог привести Иванова в чувство: обморок продолжался минут 40.

Подавленные, мы выслушали этот рассказ. Что было делать? Такие сцены могли повториться и завтра, и после завтра—невозможно было выносить их. Ни физических, ни нравственных сил на это не хватило бы. Отпор был необходим, но в какую форму должен вылиться этот отпор? Оставить дело без протеста было немыслимо. Нас задушили бы; реагировать надо было, во что бы то ни стало.

Среди нас была полная растерянность: одни предлагали шаблонный путь самоистязания—отказ от прогулки; другие говорили о бойкоте коменданта: прервать с ним все сношения вплоть до отказа принимать из его рук письма от родных. Понурив головы, неудовлетворенные, мы разошлись, ни на чем не остановившись.

Прошел мучительный день. Каждый про себя ломал голову над вопросом: что будет дальше? Что предпринять?

К вечеру у меня явилась мысль написать матери письмо в несколько строк такого содержания, что департамент полиции ни в каком случае не пропустит его, но сам прочтет и заинтересуется: что такое произошло в крепости? и уж, конечно, не оставит дела без расследования.

Я написала:

«Дорогая мамочка. Я совсем собралась отвечать вам, но произошло нечто, перевернувшее все вверх дном. Обратитесь к министру внутренних дел или к директору департамента полиции, чтобы они произвели расследование на месте.

Ваша Вера».

3/III 1902 г.

Я сообщила содержание письма ближайшим товарищам и в тот же вечер сдала письмо смотрителю.

«Не передадут твоего письма в департамент», сказал Морозов.

Сомневались и другие. Не сомневалась—я.

Наутро все сидели дома; лишь несколько человек, в том числе и я, вышли на прогулку.

Меня привели в 6-й огород, который считался моим. Большие сугробы наметенного за зиму снега лежали на всем пространстве, оставалась одна протоптанная дорожка, по которой я обыкновенно ходила и которую ежедневно расчищала.

Рядом, в 5-м огороде, на этот раз был Поливанов. Кругом было тихо: не слыхать было ничьих голосов. Мы стояли, грустные, у решетки и тихонько разговаривали. На вышке, прислушиваясь, стоял жандарм.

«Вот случай, достойный протеста Веры Засулич, говорила я, размышляя вслух: не жалко за такой протест отдать жизнь».

И потом: «Не страшно умереть—страшно быть изолированной от всех. Если заключат в старую тюрьму, заключат навсегда? Одну... одну с жандармами... Без книг... Это хуже, чем смерть... Нельзя два раза пережить то, что мы пережили в первые годы. Жизненные силы теперь

не те — я сошла бы с ума... Безумие, безумие—вот что страшно».

А образ Веры Засулич все стоял передо мной.

Я сообщила Поливанову о письме, которое передала смотрителю

Он смотрел на меня своими печальными, большими глазами газели.

— А что, если письмо не передадут?—спросил он.

А я и не думала об этом.

«Это невозможно», воскликнула я с неудовольствием. «Смотритель *не смеет* не передать, *не смеет* не отослать в Петербург. Не хочу и думать об этом—не хочу и говорить».

Поливанов ушел, я осталась.

Я не могла расстаться с прохладным свежим воздухом, который казался мне упоительным теперь, когда я должна отказаться от него; ведь не могла же я выходить, когда товарищи отказались от этого. И с жадностью, раскрывая рот, как рыба, выброшенная на берег, я глотала воздух в последний раз; на сколько месяцев? быть может без конца.

Пошел снег. Большие, мягкие, пушистые хлопья, словно лебяжий пух, медленно сыпались с неба при безветрии весеннего дня. Я отошла от крепостной стены и снег опускался на меня, покрывая самодельную серую шапочку и серый арестантский халат. Тихо было в воздухе, тихо и безмолвно вокруг. И во всю неподвижную мою фигуру прокрадывалась тишина. Опущенные глаза не видели тюрьмы, заборов и жандарма; они видели только снег и, казалось, я где-то далеко, далеко, и стою совсем одна. Это безмолвие, похожее на безмолвие леса; этот снег, понемногу засыпающий меня, и сладкая прохладная дрема, с рук, с ног, пробирающаяся в самое нутро, убаюкивали мысль, холодили тело, и все напоминало поэму Некрасова: «Мороз—красный нос», ту сцену, где Дарья стоит и замерзает в лесу:

„Душа умирает для жизни, для скорби“...

Да, засыпает. Да... умирает [1]).

Едва я вошла в камеру, вся проникнутая грустной поэзией снегового поля, нежных белых хлопьев, и от всей одежды моей еще неся прохладный аромат зимы, как за мной вошел смотритель и заявил: «Ваше письмо не может быть отправлено. Напишите другое».

— Почему?—сердито спросила я.—Вы *должны* отправить: цензура принадлежит департаменту полиции—*не вам.*

«В письмах можно говорить только о себе. Такова инструкция».

— Я знаю инструкцию: отошлите письмо.

«По инструкции я не могу пропустить его: я покажу вам правила», и он вышел.

Я была так уверена *в своем праве*, что не сомневалась в победе и спокойно продолжала снимать одежду.

Смотритель вернулся со шнуровой книгой в руках и прочел соответствующее место.

Повысив голос, я повелительно сказала: «Оставьте ваши параграфы. Я знаю—*все письма* должны отсылаться в департамент: *его* дело задержать или отправить по назначению.

«Не кричите», протестовал смотритель. «Я вежлив, будьте вежливы и вы»

— Вы будете душить нас, а потом требовать, чтоб с вами были вежливы,—с гневом бросила я ему. Отошлите письмо.

«Пожалуйста, не кричите и напишите другое письмо, тогда отошлю».

— Не буду писать!

«В таком случае, мы лишаем вас переписки».

Тут, только тут я поняла всю серьезность момента. Нужен был акт. Нужно было решиться, *сейчас же, сию же минуту*, а я еще не решилась, *и даже не думала, что такая минута может представиться мне.* Нужно было выиграть несколько минут, «собрать себя», вернуть самообладание и тогда... Инстинктивно я продлила спор и уже сдержанно спросила: «За что вы можете лишить меня переписки? Я не совершила никакого проступка».

---

[1]) У Некрасова: „для скорби, для страсти". Я забыла.

«Вы отказываетесь переписать письмо и *потому* мы лишаем вас переписки».

Слова звучат, а мысль стремительно работает: «письмо *не будет* отправлено... департамент не узнает. Инструкция *будет* введена. Старый режим *будет* восстановлен,—мы не вынесем. Товарищи... что будет с ними?

И дальше уж о себе: Вынесешь ли ты все последствия?

Военный суд и казнь, или ужас одиночества, безумие и смерть... Не пожалеешь ли? Не раскаешься? Хватит ли у тебя сил на все это?»

И медленно, чтоб не было сомнения, что смотритель только угрожает, мой голос произносит: «Итак, вы лишаете меня переписки?»

«Да», твердо отвечает смотритель.

Молнией проносится мысль и откидывает все сомнения: *«Лишь в действии познаешь силу свою»*.

Мгновенно мои руки поднимаются; я касаюсь плеч смотрителя и с силой срываю с него погоны...

Они летят направо, налево. Смотритель пискливо вскрикивает. «Что вы делаете?» и выскакивает из камеры, а растерявшийся вахмистр ползет по полу, подбирая сорванные погоны.

...Сейчас меня уведут в старую тюрьму, думаю я, и с лихорадочной поспешностью оповещаю товарищей о том, что сделала. В тюрьме поднимается буря.

Но я прошу товарищей оказать мне услугу: мне нужно полное самообладание. Владеть собой я смогу лишь в случае, если они не будут производить беспорядков: они излишни—все, что нужно, уже сделано. «Об одном прошу: дайте мне покой».

Все стихло. Наступило жуткое безмолвие. Всколыхнулась душа каждого и тревога неизвестности окутала всех. И страшен был раздававшийся порой крик Попова с отдаленного конца здания: «Что с Верой?» т.-е. увели ли меня. И это был не крик, а какой-то вой.

Он потрясал меня...

ГЛАВА XXVI.

Под угрозой.

Прошло три дня; меня не уводили. Тюрьма словно вымерла и напоминала стародавние времена, когда была в железном кулаке Соколова

Наконец, со сторожевого поста, который занимал у своего окна мой сосед Антонов, мы получили известие: приехал военный следователь и в канцелярии допрашивает по одиночке жандармов.

Дошла очередь и до нас.

В сопровождении каменданта, смотрителя и жандармов ко мне вошел человек лет 35, высокий, стройный с суровым интеллигентным лицом [1]. «Как это вы сделали такую вещь?» спросил он.

В предшествующие дни я обдумала, как вести себя. Больше всего я боялась, чтобы дело не смяли, не придали ему характер личный, не объяснили раздражением по поводу лишения переписки, не сочли бы поступком, сделанным под влиянием аффекта.

«Не допущу никаких смягчающих обстоятельств: пусть забудут, что я уж 20 лет в тюрьме; исключу все личные мотивы и поставлю дело на почву сознательного протеста в интересах всей тюрьмы».

Я рассказала все обстоятельства вечера и ночи 2 марта: обход смотрителя, без всякого объяснения объявлявшего, что с этого дня старая тюремная инструкция во всей строгости будет применяться к нам; наше недоумение и беспокойство по поводу предстоящих, ничем не вызванных, репрессий и волнение, охватившее нас, когда среди ночи, не отвечая на все наши вопросы, жандармы несли кого-то по корридору и мы слышали хрип и тревожные приказы коменданта *развязать... позвать доктора*.

Рассказала и о письме, задержать которое смотритель был не в праве и *должен* был отослать в Петербург, ка-

[1] Это был адъютант начальника корпуса жандармов—товарища министра внутренних дел Святополк-Мирского.

ково бы ни было его содержание, так как цензура нашей переписки принадлежала не местному начальству, а департаменту полиции, и я знала, что письмо по назначению он не передаст, а сам прочтет

«Быть может, смотритель был груб с вами и сам вызвал ваш поступок?» спросил следователь

— Нет, он не был груб. Он вообще мягок в обращении и *не он, а я* в разговоре возвышала голос.

«Не поразило ли, не огорчило ли вас заявление смотрителя, что вы лишаетесь переписки с родными»?

— Нет. Я не дорожу перепиской. Еслиб ее дали в первые годы—это было бы великое благо. Но ее дали через 13 лет и теперь она причиняет мне только страдание.

«Значит, вы хотели только предать дело гласности?»

— Да, отвечала я.

По мере того, как я говорила, выражение лица допрашивающего смягчалось и светлело. Теперь он поклонился и со словами: «Будьте здоровы», вышел.

Затем следователь был у Попова, и мы узнали причину поднятого на нас гонения: Попов, не сообщив *никому, кроме Сергея Иванова,* сделал через одного молодого солдата попытку отправить письмо на волю. Письмо было пробным шаром и, совершенно невинное по содержанию, было адресовано матери, с которой Попов, как и все, имел официально дозволенную переписку.

Солдатик, румяный парень, весьма легкомысленного вида, приходил, обыкновенно, во время прогулки уносить мусор из камер. Попову несколько раз случалось на минуту встречаться с ним наедине и слышать изъявление сочувствия и готовности чем-нибудь услужить: «Одно удерживает», говорил он, «попадешь в дисциплинарный. Вот, если бы к вам, политическим, посадили!»

Повидимому, нашу жизнь он считал верхом благополучия

Попов решился воспользоваться готовностью своего приятеля, и, написав письмо, попросил опустить в почтовый ящик.

В тот же день, не по предательству, а по глупости и неопытности, оно оказалось в руках коменданта.

Все дальнейшее понятно...

...Потянулись дни полной неопределенности. Неизвестность о том, что будет дальше, попрежнему окутывала нас. Никто не выходил на прогулку, и мы оставались в камерах, занимаясь чтением и строя в уме всевозможные предположения.

Однако, в атмосфере что-то носилось. Комендант Обухов Христом-Богом просил всех сдать все колющие и режущие инструменты, какие были у нас на руках. При этом он сказал, что через неделю уходит, а потом мы узнали, что и смотритель Гудзь тоже уходит. Таким образом, должна была произойти полная смена администрации. Это как-будто показывало, что наше дело признано правым и все кончится благополучно. Но были и тревожные признаки: в старой тюрьме неожиданно стали производить спешный радикальный ремонт. Все мастерские были перенесены в наше здание, а в старой тюрьме белили, красили, проводили электричество и устраивали телефон.

«Веру наверное удалят от нас и поселят в старой тюрьме», тревожились товарищи, и эта возможность страшно волновала меня.

Подошел конец марта, когда Антонов известил, что приехал новый комендант. И, действительно, он явился к нам. Оказалось, это старый знакомый, офицер Яковлев, дававший свидания в Петропавловской крепости, провожавший Перовскую на эшафот и бывший подручным Соколова в Алексеевском равелине.

За 20 лет он состарился, пожелтел и страшно растолстел. Мы все тотчас узнали его и как-то сразу дали кличку «Бочка»

«Я—новый комендант», рекомендовался он, «а вот, новый смотритель», указал он на Проваторова, который до этого был помощником Гудзя и заведовал мастерскими. Затем Яковлев прочел бумагу. Этот официальный документ должен был быть внушительным, но содержания в нем, можно сказать, не было никакого. Нас хотели, как

будто, ограничить в чем-то, лищить чего-то: вообще, показать, что начальство накладывает на нас кару. На деле же главным пунктом было, что ночью камеры должны быть освещены [1]), а затем в камерах запрещалось иметь *стеклянные пузырьки*.

Попову было объявлено, что он на месяц лишается прогулки вдвоем, а на меня никаких репрессий наложено не было; но, без всякого подтверждения, лишение переписки осталось в силе.

Товарищи ликовали, считая все дело ликвидированным.

На другой день мы вышли на прогулку. Вышла и я в 6-й огород, где месяц назад меня осыпал снег. Но в каком состоянии? За четыре недели я пережила так много и пережитое было такое жгучее, такое острое. Оставаясь наедине с собой, я укрепляла в себе готовность лицом к лицу встретить свою судьбу: надо было приготовиться, приготовиться умереть или быть заточенной в какой-нибудь каземат в полное одиночество. Надо быть готовой и твердой, твердой, как камень, надо быть камнем. Не думать ни о чем, кроме этого. Не надо сожалений и сочувствия товарищей. Не надо допускать ничего трогательного ни в других, ни в себе—заглушить все, что может растрогать и смягчить

Страшные сновидения, которые мучили в первые годы, теперь возобновились, но были в другом роде: я постоянно видела бунт и беспорядки в тюрьме. Вот Попов ударил смотрителя. Поднимается страшная возня с жандармами, которые бьют его; воскресает сцена с Мышкиным—день Рождества 1884 г.: 7 часов вечера. Звон падающей тяжелой оловянной миски, шум, топот и крик: «Не бейте, не бейте! Казните, а не бейте»!

Или вот Лукашевич, милый, кроткий Лукашевич. Ростом гигант, а глаза—прозрачные глаза ребенка. Он прислал мне письмо удивительной нежности, полное преданности и трогательной признательности. И во сне я вижу, что эта мягкая душа воспламенена протестом, протестом за

---

[1]) Обыкновенно, электрическую лампочку мы чем-нибудь завешивали или заслоняли.

меня. Он с яростью бросается на Гудзя, свора жандармов опрокидывает его на пол, и они топчут его, этого силача и красавца. Я просыпаюсь в ужасе. В правую сторону гортани, как-будто воткнута острая иголка. Трудно дышать—горловой спазм Сергея Иванова, так поразивший воображение, ощущается теперь мною [1])

Или мне кажется, что я умираю; тяжелая могильная плита давит грудь; холод камня с внешних покровов пробирается внутрь. Я чувствую, как постепенно все глубже и глубже стынут ткани тела и понемногу замерзают самые внутренности. Я просыпаюсь с криком и непроизвольные слезы орошают подушку. И так—тяжелые дни и мучительные ночи; опять они, эти мучительные ночи.

На прогулке—рядом со мной Лукашевич. Не знаю, почему, именно он, почему именно его я хотела увидать первым. Он—один: с двумя мне было бы тяжелее. Я совсем не могу говорить: голос исчез, стал тонок и звонок, как в самые тяжелые времена. И слова с перерывами срываются с губ. Свежий воздух веет в лицо, отвыкшее от него; снег еще лежит кругом на моей полянке, но я не могу в уме повторять Некрасовское:

„Душа умирает для жизни, для скорби"...

Душа не умерла и скорбь переполняет ее. Я безмолвно опускаюсь в своем полушубке на импровизированное кресло у забора и мы молчим

Все время я ждала военного суда и чувствовала себя перед лицом смерти. Все время ждала ее, приготовлялась к ней. Ведь, надо было быть готовой, чтоб в свое время не дрогнуть. И это переживание и день, и ночь, каждый час в продолжении четырех недель, не могло не действовать разрушительно.

Я была рада какой-то особенной злою радостью, что судьба дала мне случай найти себя, найти силу для энергичного отпора. Слова Тригони: «Уж никто из нас не спо-

---

[1]) И еще долго, многие годы, когда я была чем-нибудь очень расстроена этот короткий укол в правую часть гортани повторялся, как физический след пережитого потрясения.

собен на энергичный протест», теперь не отзывались болью в сердце. Я разбила этот приговор, *я сделала*, была *способна сделать*. И мне, осужденной на каторгу без срока, казалось, что смерть на эшафоте за протест есть наилучший конец. Умереть в тюрьме... от старости—неужели это не ужасно?..

Как ни утешай себя, как ни держись крепко за мысль, что перенося тяжелое заточение, служишь той же идее свободы, которой служил и до тюрьмы—все же, все же это пассивное, бессильное состояние. Какая неподвижность, какое оцепенение! Все, что есть лучшего в человеке, загнано вглубь, не может проявиться: затаенное, заглушенное—его как-будто и нет. Начинаешь сомневаться в себе, в товарищах, и так как десяток людей, оставшихся у тебя, представляют собой все человечество, скрытое стенами тюрьмы, начинаешь забывать все прекрасное, все высокое, что есть в человечестве, теряешь ощущение великого. Воодушевлению и любви нечем питаться—им выхода нет, они подсечены в корне. И жизнь, общипанная, жалкая, тусклая жизнь тянется без конца... до смерти в тюремной постели! Нет. Лучше на эшафоте... *Не в пассивности, а в действии, в протесте* за друзей, за товарищей...

И что же? *Опять вырвали возможность умереть*! Заставили приготовиться, измучили, исковеркали и оставили жить...

И трудно, трудно было вернуться к жизни...

...Проходили дни, недели. Казалось, все миновало. Администрацию сменили—инструкция не была восстановлена; в общем, все осталось по-старому; новый комендат хотел было уничтожить решетки заборов, позволявших разговаривать соседям по прогулке, и заменить досками, но по настоянию товарищей отступил от этого, как от общей меры и уничтожил решетки лишь кое-где. Это было самое крупное покушение на наши льготы. Не стоит перечислять его других мероприятий: порой они доходили до каррикатурных форм. Так, «Бочка» распорядился надеть, как мы говорили, намордник на маленькую железную печку, которая отопляла ванну: на бедную печку надели железный фри-

гийский колпачок, чтоб воспрепятствовать узникам ставить на печку чайник. Важно было, что перестали давать газету.

Ремонт старой тюрьмы продолжался и не переставал возбуждать толки и всевозможные догадки. Нет, нет, да выплывало снова: «Веру уведут от нас». И было тягостно и неприятно, что нельзя отрицать эту возможность.

Однажды прошел шопот: «на двор старой тюрьмы жандармы носят тес и бревна: там что-то сооружают», и вдруг известие: Фроленко видел из окна, что жандармы тащили туда эшафот. Тюрьма переполошилась... «Надо проститься с Верой», говорил Антонов.

В тюремной мгле все приобретает преувеличенные, искаженные очертания; жизнь полна призраков—у нас она была вся—сплошной призрак.

Опять неизвестность. Опять мы «Слепцы» без поводыря: бредем ощупью; глаза закрыты, руки вытянуты вперед и на каждом шагу ноги могут встретить пропасть.

Да, жандармы принесли эшафот и неизвестно для кого?

Если эшафот, будет и казнь. Кого же казнят? Для кого эшафот?

Неизвестность кончилась на заре с 3-го на 4-е мая.

ГЛАВА XXVII.

Казнь (1902 г.).

3-го мая в 7-м часу утра мой сосед, Антонов, дал тревожный сигнал: «Смотрите!»

Я бросилась к окну.

От крепостных ворот двигалась плотно сбитая толпа людей в шинелях, а в центре—один в нагольном полушубке.

Мы поняли: в крепость привезли узника.

Смешанное чувство горести и вместе радостного ожидания охватили меня: горести, за молодую жизнь, которую сейчас похоронят в нашей братской могиле, и возбуждения, похожего на радость, что струя свежего воздуха, воздуха

борьбы, происходящей за стенами, ворвется к нам. Но все же острая боль за этого другого была сильнее, чем радость за себя.

Однако, узника не ввели в нашу тюрьму,—его провели в канцелярию на дворе крепости.

....После обеда Антонов мрачно сказал: «На дворе священник»....

— Так что же? с недоумением спросила я.

«Будет казнь».... угрюмо объяснил Антонов.

С 1884 года на обширном дворе цитадели не раз происходили казни. Казнили Минакова; казнили Мышкина; затем Штромберга и Рогачева, а в 1887 году 5 человек по процессу Лукашевича и Новорусского. Но все эти казни совершались секретно; их окружала такая тайна, что никто из нас не мог ни видеть, ни слышать происходящего.

Матовые стекла в окнах, толстые стены здания и ранняя утренняя заря, когда кругом все спало, исключали всякую возможность подозревать, что вблизи совершается нечто необычайное.

Теперь было иначе. Стекла в окнах были прозрачные: мы видели, что привезли человека; и на двор цитадели нельзя было провести его иначе, как мимо этих окон; мы *должны* были видеть все шествие.

Какое жуткое чувство—ожидать казни, какое-то телесное предчувствие близости точно определенного конца другого человека.

«Его» привезли около 7 часов утра, и жить ему оставалось меньше 24 часов.... Вот осталось 20.... вот 15.... 8.... 5.... С каждым часом нить жизни становится короче, словно перед глазами растянутая эластическая лента постепенно сокращается, укорачивается, превращаясь все в меньший и меньший отрезок. Часы идут; а минуты, как-будто, стоят, тяжелые и тягучие; они такие длинные—эти минуты напряженного внимания и ожидания.

Вот, под окнами тюрьмы пробирается вахмистр и тащит веревку, прижимаясь к зданию, чтоб не быть замеченным.... Крадучись, идет жандарм, закрывая полой шинели

пилу и топор. В отдалении звучат последние удары приготовляемого помоста.

Конечно, «его» проведут мимо нас ночью. Но мы не будем спать, чтобы хоть взором проводить «его».

Но ловкость жандармов обманула ожидания: через какой ход и в какой час провели узника — никто из нас не видал среди темной ночи.

В 3 часа утра начинало светать. На крепостном дворе виднелись белые дома — жилища администрации и подле них широкой обнаженной полосой — дорожка. По другую сторону ее — белая церковь и деревья черные, еще совсем голые. Пустынно и мертво на этом дворе при едва брезжущем рассвете, бросающем желтоватый колорит на унылое безлюдное пространство. Но вот, один по одному выходят: смотритель, его помощник, комендант и начальник гарнизона; врач, священник и жандармы. Шеренгой идут они вряд по бурой полосе по направлению к воротам тюремного двора. А стороной, как отверженный и прокаженный, с жандармом впереди и жандармом позади — некто плотный, в драповом пальто—с виду мастеровой.... палач!

Прошла мимо окон толпа, прошел одинокий и исчезли в воротах цитадели. Все стало пустынно и мертвенно в желтом полусвете начинающегося дня. Потянулись минуты; последние 40 минут в жизни «*одного*».

....Медленными, усталыми шагами выходит одинокая черная фигура священника, согбенная тем, что он видел, и опускается, скорбная, на скамью близ церкви.

И снова тишина и безлюдье, в которых таится наступившая смерть.

....Кончено! Появляется комендант, смотритель, жандармы и человек в вицемундире судебного ведомства. И опять, стороной, как отверженный и прокаженный, некто плотный, в драповом пальто.

И когда вышли из ворот нашего двора, один из тех, кто отвергал палача, не хотел смешиваться с ним, тот, кототорый носил значек судебного ведомства, обернулся лицом к нам, к окнам, в которых не мог не видеть прильнув-



Снято в Нижнем в 1906 г.

ших побледневших лиц наших. Обернулся лицом широким, хорошо упитанным и — *улыбнулся.... улыбнулся* нахально, самодовольно и вызывающе.

....А один из жандармов, по обязанности сопровождавший начальство на место казни, в воротах цитадели, когда надо было переступить порог, схватился за грудь и проговорил: «Ваше благородие — не могу!.... Увольте! Не выдержу.... не могу»....[1]).

ГЛАВА XXVIII.

Нарушенное слово.

Прошло около года после лихорадочных мартовских и апрельских дней 1902 года. Триста последующих серых тюремных дней затушевали их острые переживания; и 13 января 1905 года я сидела спокойно в своей камере и не подозревала, что тяжелой поступью ко мне идет Судьба; идет, постучит в дверь и скажет: «Выходи».

Топот ног послышался в корридоре, стукнули затворы двери; щелкнул замок и ко мне вошел комендант с жандармами.

Подняв немного руку и театрально возвысив голос, он с расстановкой произнес: *«Государь император... внемля мольбам матери... высочайше повелел каторгу без срока заменить вам каторгой двадцатилетней»*.

И, помолчав, прибавил: «Срок кончается 28 сентября 1904 года».

При словах «Государь император», произнесенных с особо важной интонацией, я подумала: «запоздавшая кара за погоны», и это было бы лучше, чем то, что я услыхала дальше.

Я стояла ошеломленная. Думая, что тут какое-то недоразумение, потому что, зная мои взгляды, мать *не могла, не должна была* просить о помиловании, я задала нелепый вопрос:

---

[1]) Казнили Балмашева.

— Это общая мера, или относится только ко мне? [1]).

«Только к вам», с резким неудовольствием буркнул комендант, и продолжал: теперь можете написать родным».

Но я вовсе не хотела писать. Я была возмущена, оскорблена; первым порывом было—порвать всякия сношения с матерью.

С ней, с любимой! С ней, разлука с которой доставляла мне столько страданья!

Уж полтора года прошло с тех пор, как я в последний раз писала матери, а со времени получения письма от нее прошло 12 месяцев. Что было дома за это время? Что знала обо мне мать за эти полтора года вынужденного перерыва переписки?

Ничего не понимая, я сдержала себя и сказала: «Пусть родные напишут—я отвечу».

Камеру заперли; я осталась одна.

С горьким чувством постучала я товарищам о свалившемся на меня *несчастьи*—потому что *несчастьем* для меня было помилование.

Откуда оно свалилось на меня? *Как могла* мать, моя твердая, мужественная мать «молить» о пощаде для меня?

Без слез, без хотя бы мимолетной слабости она проводила в Сибирь одну за другой двух дочерей, а когда прощалась со мной, не она ли *дала мне слово, не просить никаких смягчений для меня*?

Что же случилось с ней, на которую я расчитывала, как на самое себя? Что случилось? Что заставило нарушить торжественно, перед разлукой, данное слово? Что произошло за последние год—полтора?

Мучительные, безответные вопросы...

Обращением к царской милости мать нарушила мою волю: я не хотела милости; я хотела вместе с товарищами-народовольцами исчерпать до конца свою долю. Теперь, не спросив меня, без моего ведома и согласия, мать ломала мою жизнь. Можно ли оскорбить сильнее! Как *могла* она поступить так? Она, так уважавшее чужое убеждение, чу-

---

[1]) Я подумала об амнистии.

жую личность, и меня учившая тому же уважению. Так грубо, так произвольно ломать чужую жизнь! Так разбивать в куски чужую волю!

Я чувствовала себя униженной монаршей милостью. И кто же унизил меня? Мать, любимая, глубоко чтимая мать...

Унизила меня,—но унизила и себя.

Как больно было слышать утешение товарищей: «*Ты же не виновата*!»

Неустанно шевелилась беспокойная мысль: Что же могло случиться с матерью? Почему дрогнуло ее материнское сердце? Не узнала ли она, что меня, 18 лет тому назад осужденную, будут опять судить? приговоренную к смертной казни 18 лет тому назад опять приговорят к смерти? Узнала—и дрогнула. Исстрадалась в разлуке и в неизвестности? Не выдержала и забыла обет, который я наложила на нее при прощаньи.

Нестерпимо больно было думать об этом в слепоте тюремного одиночества. Думать, что она изменила *себе*, изменила *мне*, и что я, далекая и невидимая, не могла крикнуть: «Остановись!» Не могла схватить руку, подававшую прошение.

...Через три дня объяснение пришло.

Писала мать; писала прощальное письмо: она при смерти... три месяца, как не встает... два раза делали операцию.

Операцию рака,—прибавляли сестры.

Мучительный гнев, готовый на разрыв с самым дорогим—и на пороге смерть! Что было делать? Какие горькие упреки, презрительные укоры могла дочь послать умирающей матери?

...Надо было отвечать, и ответ мог быть *последним письмом*, которое застанет мать в живых.

Жестокое сердце смирилось. Не упреки и укоризны—все прегрешения мои против матери, когда-либо в прошлом сделанные, встали в памяти. Встало и все добро, которое она для меня сделала. Воспоминания детства, когда она закладывала основы моей духовной личности; моральная поддержка, которую она оказывала в мучительное время

перед арестом; радость, которую давали редкие свидания с ней в тюрьме до суда, и та отрада, которую я получала в общении с ней в решительные дни суда. Вспомнилось все. Много, много дала она мне. А я, что дала ей я, сначала отрезанная ранним замужеством, а потом революционной деятельностью и ее последствиями? Одни только огорчения; и мало ли их было! Невнимание, эгоизм, свойственный молодости по отношению к родителям; непонимание... резкое слово, неприятная улыбка, крошечный укол молодого задора... Все, все вспомнилось и кололо проснувшуюся память. Ничего, решительно *ничего не дала я ей* во всю мою жизнь.

Теперь наступил день расчета: оставалось пасть на колени в раскаяньи и в признательности за все, что *она* для меня сделала; упасть и, облив горячими слезами дорогие руки, просить прощенья... И я—просила.

Ответом были незабываемые слова: «*Материнское сердце не помнит огорчений*»...

ГЛАВА XXIX.

Страх жизни.

Итак, через 20 месяцев, после 22-х лет заключения, я должна оставить Шлиссельбургскую крепость. 20 месяцев для размышления, для обдумывания будущего.

Широкая, как необозримое поле, этическая задача встала передо мной.

Судьба дает тебе редкий случай—вторую жизнь; но ты вступаешь в нее не как младенец, ничего не ведующий, ничего неиспытавший; не как ребенок, перед которым все возможности; не как юноша, у которого позади ничего, впереди все. У тебя долгое, сложное прошлое; у тебя на плечах тяжелая ноша: краткий раскаленный путь революционной борьбы, а потом долгий путь леденящего заточения. И с таким грузом ты выходишь на поле жизни. Тебе 50 лет и ты можешь прожить еще целых 20. Какое употребление из них сделаешь ты? Чем наполнишь их? Чем

осветишь и чем освятишь их? Твои взоры *были* и *должны* быть обращены к небу, но лишь за тем, чтобы ловить лучи света для земли. Что же принесешь ты этой земле? Что дашь ей?

И было мучительно и жутко думать об этих вопросах, а неумолчный голос день и ночь задавал их

Никто не мог помочь в разрешении их: ни книга, ни товарищ, ни друг. Они решались наедине с собою, никому неведомые, никем неслышимые.

День страшного суда—суда для себя, суда для будущего...

Непрерывное раздумье и полное раздвоение личности: жизнь внешняя—вся попрежнему—обычная работа в мастерской, прогулка, разговор через решетку с товарищами-соседями о чем угодно, видимом, обычном и доступном; и жизнь внутренняя—подводное течение мысли и чувства, непрерывно бегущее в одном и том же направлении. Напряженная внутренняя работа... Загадка, которую нужно разрешить и которой не находишь разрешения. Предстоит *жизнь*, а кругом нет реальной почвы. *Она, эта реальная почва, шаг за шагом втечение 20 лет убегала из-под ног и вместо нее являлась пустота.* Куда, в каком направлении ушла жизнь за четверть века? Что в ней отмерло, заглохло? Что откинуто и разрушено? И что народилось, пустило ростки, развилось, и, быть может, возмужало? Что?..

И ты, подобно пустыннику у Лескова, 20 лет простоявшему на столбе, внезапно слышишь голос: «Иди в Дамаск!» Слышишь голос, призывающий в жизнь, и подобно ему *страх жизни* охватывает тебя, отрешившегося от жизни не только плотью, но и духом.

Я походила на человека, которому неизбежно приходится плыть, и он не умеет, не знает. Когда-то в прошлом он умел, но забыл и недоумевает, что ему с собой делать? Перед ним, кругом, все море, да море; под ногами крошечная глыба земли, на которую со всех сторон наступают воды; они наступают и день за днем кусок земли убывает, размываемый волной. Умеет или не умеет—все равно: плыть придется. А он, пока еще есть время, обду-

мывает, как плыть? Обдумывает телодвижения, как взмахивать руками и двигать ногами; в какую сторону плыть; где земля, и какова мера сил его? Он боится и сомневается в себе, в капризах моря... колеблется: что будет делать, как будет действовать? и никто не может помочь ему, чтобы среди водной пустыни представить себе, как вести себя, бросившись в воду...

В это время нам дали Чехова, все томы. Он умер— тогда дали, пока был жив—не разрешали. Я принялась за чтение и глотала один том за другим, пока, охваченная тоской, не сказала себе: Нет—больше не могу.

На пороге второй жизни предо мной проходил ряд *слабовольных* и *безвольных* людей, ряд неудачников, ряд тоскующих. Страница за страницей тянулись сцены нестроения жизни и выявлялась неспособность людей к устроению ее. «Три сестры» мечутся, ожидая спасения от переезда в Москву. Но разъедающую тоску или бодрый дух жизненного творчества человек носит в себе самом и «сестры» будут также бесплодно вянуть в Москве, как вяли в провинции.

Вот люди, вместо действенной работы во имя лучших форм жизни, вместо борьбы за нее, усаживаются на диванчик и говорят: «Поговорим о том, что будет через 200 лет». Они не сеют, но хотят будущей жатвы, *мечтают* о ней, как-будто она может притти сама собой, без усилия всех и каждого... и эта пассивная мечта о светлой, радостной и счастливой жизни для человечества—единственный луч, блещущий в сумерках их существования.

Неужели же современное поколение таково? Неужели жизнь так тускла, бездейственна и мертва? И, если она такова, зачем выходить на свободу? Если она такова, то какая разница: томиться ли в тюрьме или вне ее? Вот выйдешь из стен крепости и вместо тюрьмы маленькой, попадешь в тюрьму большую. Зачем же выходить в таком случае? Зачем тусклую *известность* менять на тусклую *неизвестность*?..

Правда, в 1901 году пришел к нам добрый вестник— Карпович. Правда, он был—сама бодрость и уверенность,

что наша родина переживает знаменательное «накануне». Он говорил, что вся Россия трепещет молодым, *деятельным* стремлением к свободе, к переустройству жизни на новых началах. Все бурлит, борется и вскипает. Он рассказывал о пробуждении городского пролетариата, о росте его самосознания и выступлении на политическую арену; о волнующейся культурной молодежи, провозглашающей смелые лозунги борьбы за право и свободу. Он поразил нас цифрами организованных ремесленников Западного края. Казалось, новый дух веет над русской равниной, которую мы оставили такой безмолвной, аморфной и покорной. Прошло двадцатилетие—и Россия была подобна громадному котлу с тяжелой перегретой жидкостью: она уже подрагивает... на ее поверхность со дна всюду пробиваются струйки горячего пара... Вот, вот вся жидкость вздрогнет и закипит....

Да, Карпович рассказал нам удивительную, головокружительную повесть, песнь о действенной жизни. Он пророчествовал—«через 5 лет будет революция».

После рассказа прошло 2 года: если есть движение, сильное, неудержимое, то за первым вестником должны быть другие—изоляция Шлиссельбурга будет кончена. Но месяцы проходили, а вестники не приходили. Краски бледнели, отклики жизни замирали. Тюремный режим обострился; возобновились стеснения; мы потеряли и те скудные литературные источники, из которых последнее время могли улавливать шум наступающего буруна [1]. Через стены нельзя было видеть; через стены нельзя было слышать.

И думалось: правильную ли оценку событий делал Карпович? Не переоценивал ли он революционную действительность данного момента? Разве Карпович, этот вестник, пришедший в тюрьму окропить живой водой наши мертвые души, не жил в совершенно особой среде, где так сильны горячие упования? Ведь, это же маленькая, разгоряченная струйка лавы, быть может, на ледяном покрове целой страны. Где крестьянство? Где 85 миллионов кре-

[1]) Нам перестали давать газетку „Петербург“, стали делать вырезки даже из „Хозяина“.

стьян? Где глухая провинция? Вот Чехов—бытописатель этой провинции... Карпович рисует революционное движение, жизнь промышленных центров, где лихорадочно бьется пульс жизни, пульс интеллигенции и городских рабочих. Рисует в общих чертах... А Чехов выводит галлерею людей, живых человеческих образов, и эти образы взяты из толщи, из материкового слоя нашей страны. И этот средний обыватель, средний тип русского человека среди гадкой слякоти повседневной жизни усаживается на диван и предлагает: «Поговорим о том, что будет через 200 лет».

Но мне, мне придется жить даже не в провинции, описанной Чеховым, с врачами-древонасадителями и резонерствующими профессорами, а в настоящей безнадежной глуши. Меня отправят на Сахалин или в Якутскую область, как отправили тех, которые раньше вышли из Шлиссельбурга. Я буду жить среди бесправного населения уголовных каторжан, на проклятом острове, где идет непрерывное надругательство, истязание плетью и розгой. Страшно жить, когда по одну сторону—свирепая бесконтрольная администрация, а по другую—люди, выброшенные за борт общежития за своекорыстные деяния, убийство, разбой и всяческое насилие... Или я буду среди снежных пустынь у полярного круга, в улусе из нескольких якутских юрт, где кроме некультурных туземцев не с кем будет обменяться словом...

Какая же может быть цель такого существования? Неужели для *такой* жизни стоит выходить из стен крепости?

За этими стенами, *как* жить? *Чем* жить? *Зачем* жить?

ГЛАВА XXX.

Мать.

В 4-х стенах билась обездоленная мысль, а за стеной медленно умирала мать.

Сестры выхлопотали разрешение посылать мне каждые 3—4 недели краткие бюллетени о ходе ее болезни. До ноября 1903 г., когда мать умерла, в течение целых 10 меся-

цев изменчивые и противоречивые известия об улучшениях и ухудщениях ее здоровья дергали мои нервы и держали их в непрерывном напряжении. Мысль об умирающей никогда не покидала меня, и вести из Петербурга вместо успокоения, о котором думали сестры, лишь обостряли тревогу.

Казалось, таинственная связь установилась между моей камерой в крепости и комнатой на одной из улиц Петербурга, в которой лежала мать: когда мое настроение несколько поднималось, я тешила себя мыслью, что матери лучше, а когда тоска охватывала сильнее, я решала—матери хуже, мать умирает.

15 ноября ее не стало.

Заботливые жандармы, «чтоб не расстраивать» меня, как после объяснял смотритель, не передали мне письма, в котором сестры сообщали это известие. Вместо этого смотритель словесно объявил мне о случившемся, при чем небрежность была так велика, что он все перепутал и сообщил, что мать похоронили в *Петербурге на Волковом кладбище*.

Я знала, что Петербург всегда был чужим для матери; ничто, кроме образования детей, не связывало ее с ним. Ей дорог был родной угол в Казанской губернии, село Никифорово, где стоял «старый дом», и все было полно семейных воспоминаний о нашем и ее собственном детстве, о горестных и радостных событиях нашей общей жизни. Там, рядом с отцом и нашей няней, хотела она лежать.

...Увижусь—не увижусь... Не увижусь, нет... Увижусь... гадала я в течение 10 месяцев, думая о том, доживет ли мать до 28 сентября 1904 года, когда я выйду. Теперь—гаданье кончилось: мать не дождалась моего выхода, не увидала меня.

Быть может, так было лучше: мать увидала бы меня в том возрасте, в каком была сама при нашем расставаньи. И я увидела бы не ту, которую обнимала в последний раз в 84-м году, увидала бы другую, непохожую, страшно непохожую и от расстояния в 20 лет, и от ужасной болезни...

...Нервное напряжение оборвалось; наступил полный упадок сил—одно из тех состояний, когда не хочешь ни видеть, ни слышать, ни говорить; когда голоса нет, слов нет; ничего нет—только непобедимая слабость тела и летаргия души.

...Прошел декабрь, прошел январь, наступил март.

Март был на этот раз совсем необыкновенный для петербургских широт. Дни были голубые, всегда ясные; солнце грело необычайно сильно. Целыми часами на воздухе я лежала на примитивном ложе, которое устроил заботливый товарищ в огороде. Никто меня не трогал; кругом под безоблачным весенним небом стояла тишина; солнце бросало горячие лучи; дремали—усталое тело и уставшая душа.

В феврале дали неотданное раньше письмо сестер. Они писали, что *всей семьей проводили мать в Никифорово и там схоронили ее*, как она того желала

9-го марта я писала ответ:

«Дорогие! Не буду писать вам о мамочке, ни о моем настроении: зачем дергать вам нервы! Печаль и усталость вполне определяют его. Печаль—потому что ведь в течении 21 года она была центром моих чувств. Усталость—потому, что целый год я стояла пред ее открытой могилой, в постоянной тревоге, волнении и опасениях. Мне утешительна мысль, что вы проводили ее вплоть до крайнего предела, возможного для человека, и что она лежит не в Петербурге, где было бы так холодно и неуютно, а в Никифорове, которое она так любила и которое для всех нас дорого *было*, а теперь стало еще дороже, еще милее. Я всегда почитала счастьем для человека иметь заветное местечко, с которым связан воспоминаниями детства, где впервые полюбил простор небес и полей; где совершались разные семейные события и где спят близкие умершие...

Часто я думаю о вас и воображаю, как вы ехали в Никифорово, и эти мысли всегда вызывают у меня слезы. И, быть может, именно в эту ночь, которую вы напролет ехали, я видела тот сон, который произвел на меня такое глубокое впечатление.

Мне снилось, что мы, сестры, вчетвером, едем в санях по совершенно черной, обнаженной от снега, земле и проезжаем по селу, то поднимаясь в гору, то спускаясь под гору; мимо идут ряды прекрасных изб и везде сделаны отлогие каменные спуски для пешеходов и стоят скверы с деревьями, на которых нет зелени, и видны беседки с золотыми крышами. А в середине, на холме, возвышается белый храм, каменная громада, скорее напоминающая монастырь с множеством изящных золотых куполов. А когда я посмотрела вверх, то увидела над храмом и над всем холмом висящий над ними на небе хрустальный балдахин, поразивший меня своей красотой, и почему-то напомнивший северное сияние. Когда же мы выехали из селения, то перед нами разостлалось безбрежное поле, покрытое молодыми зеленями и над ними голубое небо и горячее солнце. И не знаю, почему мне вспомнилась когда-то виденная картинка: идут усталые путники, а впереди вдали, словно вися в облаках, виднеются легкие очертания города, а надпись гласит: «Града Господня взыскущие», и с этой мыслью, в каком-то особенном [1]) настроении, я проснулась. И теперь, когда 11-го февраля я получила ваши письма (от декабря и января) и прочла, как вы ехали, это описание как-то сливается с тем ноябрьским сновидением, и мне хочется верить, что в ту ночь, когда вы провожали мамочку, душа моя сопутствовала вам»...

«Вы затрагиваете многие темы, но не хочется писать. У меня никаких перемен нет; только время идет и идет. Уже было равноденствие и солнце палит и слепит мне глаза, когда я на прогулке лежу на сене, в доморощенно chaise longue (попросту ящик с косой доской вместо спинки). Все тянет лежать»...

---

[1]) (Приподнятом).

ГЛАВА XXXI.

Накануне.

Время шло, все шло; и все ближе надвигался переворот в жизни—выход из крепости.

И хоть бы один раз радостное волнение в виду этого выхода! Хотя бы один веселый солнечный луч, хоть самый маленький, какой проходит в темную комнату чрез отверстие в закрытых, непроницаемых ставнях и играет светлым зайчиком на стене. Нет и нет!

«Чувствуете ли вы», спрашиваю я, обращаясь к товарищу, ожидающему выххода одновременно со мной,—«чувствуете ли вы дуновение предстоящей свободы? Чувствуете ли, что стоите на рубеже светлого перелома в жизни?»

«Нет», отвечает он. «Ничего не чувствую—я словно деревянный».

И другой, тоже выходящий, был, после 22 лет заключения, такой же неподвижный, каменный или деревянный.

Свобода приходила *слишком* поздно.

Сосед и друг говорил о нестесненном небесном своде, о звездах ночи; говорил, что в общении с природой я буду счастлива.

Ах, не о видимом небе и видимых звездах думала я в это время; о другом небе, о других звездах думала: о целях жизни, о смысле жизни... И что такое небо и звезды, когда не знаешь, *чем жить и зачем жить?*

Как я томилась, как жаждала «свободного» неба и звезд его в первые годы! Но это умерло, томление исчезло. Неба, нестесненного каменной оградой в жалкий лоскут над головой, как-будто не было уж жаль, и не было нужно ни звезд, ни лунного света в безмолвную ночь, ни шума, забытого шума леса... Все омертвело, все застыло, и жажды мира, всей красоты, вселенной—в душе не стало.

Лишь один раз, один единственный, из каких-то подсознательных глубин вырвалось нечто, подавленное и затаенное; вырвалось, взволновало; во всем душевном и фи-

зическом организме прошел трепет, неясное *предчувствие* свободы, трепетание жизни.

Был вечер; часов 10-ть вечера. Я сидела в камере у стола, лицом к окну; спиной, как всегда, к двери, в глазок которой всякую минуту мог заглянуть жандарм. Стоял конец июля и до выхода из крепости оставалось дней 60. Чрез откинутую верхнюю часть окна в душную камеру заметно тянул прохладный влажный воздух. Вдруг с озера послышалось ускоренное шлепанье колес по воде и раздался свисток парохода.

Все дрогнуло во мне. Вечерний сумрак и прохлада, стук пароходного колеса и свисток внезапно воскресили Волгу, пароход на Волге... Вот, я стою ночью на палубе большого парохода и смотрю в темноту—хоть глаз выколи: не отличишь, где кончается вода, где начинается берег. Только где-то высоко, во тьме блестят мелкие огоньки в окнах изб. Великое множество мелких огоньков, рассыпанных по горе... А потом суетня... громыхают сходни... Бух!.. Бух!.. грузят дрова...

Ах, эта темная ночь на Волге, на пароходе! Шум колеса, свисток... и огоньки на прибрежной горе, и громыханье дров... Свобода... жизнь на свободе!..

И проходит трепет—воспоминанье прошлого, надежда или предчувствие будущего—той же Волги, парохода, такой же ночи и огоньков, людской толкотни на пристане... Тяга, могучая и властная, на свободу! Желанное... Да, тяга... да, желанное...

Потом все стихает и во вне, и внутри. Как-будто ничего не было... Нет—и не было.

В июле в *последний раз* я получила письмо от сестер. Последнее.

«И хоть последнее,—писала я в ответ,—а все же после него стало, как всегда грустно и тяжело... Вы пишете, что мое последнее письмо вас огорчило [1]. Но что же делать? Если не писать совсем, вы встревожились бы и стали бы делать официальные запросы. Так уж надо было как-

[1]) От 9 марта.

нибудь покончить с этим. Ну, да теперь—дело прошлое: Я отлежалась на солнцепеке и салазки с сеном давно отвезла в сарайчик, где лежит всякий хлам».

«Вы пишите о памятнике в виде часовни [1]). Я толку в этом не знаю, мне как-то более нравится крест и ограда... Но главное украшение, по моему, растительность, деревья. Зимой ко мне часто смотрит по ночам луна и всегда приводит в особенное настроение, которое можно назвать эхом приятных летних прогулок, когда-то сделанных в деревне на просторе, в большой компании.... Но в эту зиму все изменилось: луна как-будто особенно часто и назойливо смотрела ко мне, и мне все представлялось снежное поле и наше Никифоровское кладбище: холодный снег блестит и холодный ветер воет, а вверху, высоко, та же луна, что заглядывает ко мне. И все казалось так пусто, голо и холодно там, и мне становилось так тяжело и неприятно... И потом я думала: хорошо бы обсадить кладбище молодыми елями, которые зеленели бы и лето, и зиму. Тогда там не было бы так уныло и беззащитно, и весь общий вид местности изменился бы к лучшему от этого островка, обрамленного деревьями: ели такие стройные и изящные—на них смотреть приятно. Они и не прихотливы, принимаются на скудной почве, а по красоте, по-моему, это лучшее дерево нашей флоры. Я люблю ее с детства, благодаря красивой аллее из елей, посаженных мамочкой в Христофоровке, по пути в дальнюю беседку (давно разрушенную)»...

«Мне так понравилось в одной повести, что автор [2]), характеризуя дрянность и никчемность своего героя, как последний укор ставит ему, что он «ни одного деревца не посадил, ни одной травки не вырастил». В этом отношении наша мать стоит высоко: в ней всегда было живое стремление украсить землю и там, где она жила, она оставляла ее всегда лучшей, чем нашла.

Быть может, вы удивитесь, что накануне важного перелома в жизни я не наполняю письма разговорами о

---

1) На могиле матери.

2) Чехов.

будущем. Но в голове моей и смутно, и тревожно и все время идет внутренняя работа, которую трудно формулировать на бумаге. Во многих отношениях приходится заново организовать свой психический мир, и я похожа на стоячие воды, в которые брошен камень, и от него во все стороны пошла рябь... Когда находишься вне процесса жизни—тебя охватывает чувство тайны, и жизнь кажется загадочной и сложной... Хочется заглянуть вперед, распознать судьбу, вырвать у нее ответы—но все тщетно. Недоуменные вопросы безответны; все окутано туманом и не выдает того, что будет...

Внешняя моя жизнь идет тем же руслом, и я продолжаю заниматься тем же, чем и прежде, но понемножку ликвидирую свои дела и привожу все в порядок.

Я не пишу о ваших семейных обстоятельствах, потому что это бесполезно, да вы и сообщаете о них в последнем письме скупо.

Будьте же здоровы и целую вас всех, больших и малых.

И что будет—то будет!»

ГЛАВА XXXII.

Сожженные письма.

До выхода из крепости остается 4 дня. Я сижу в камере у стола и то плачу, то улыбаюсь сквозь слезы. На столе лежат мои тетради; их с 1887 года накопилось изрядное количество; тут же разрозненные листы исписанной бумаги и кипа больших и малых записок, на которых мелькают то крупные круглые, то мелкие, нельзя сказать, чтобы красивые, почерки.

Комендант Яковлев только-что объявил, что, если я хочу взять с собой что-нибудь рукописное, то должна сдать для отправки в департамент полиции. «*В тетрадях не должно быть ничего о Шлиссельбурге*», сказал он. «*После просмотра* вам возвратят». *Ничего о Шлиссельбурге*!.. *После просмотра* возвратят...

Я пересматриваю рукописи с заметками, с выписками из книг, со стихотворениями, своими и чужими, с датами, почему-нибудь важными для меня, с отдельными фразами, для меня одной понятными, мне одной нужными, с записками в 3—4 строки, переписанными моей рукой, из того времени, когда подлинники нельзя было сохранить. Я действую то пером, то карандашом; зачеркиваю, затушевываю. Быстро работает резинка и стирает дорогие строки записок товарищей; те строки, которые ласкали, трогали и укрепляли. Я больше не увижу их—и мне самой приходится делать гнусное дело—истреблять их. Я разбираю мелкие бумажки, перечитываю с сознанием, что читаю в *последний* раз и рву на мелкие кусочки, чтоб сжечь. Мне больно и как-то стыдно это делать, точно я совершаю то, что зовут святотатством.

Записок—целая коллекция: серьезные, шутливые, трогательные... В них запечатлены тюремные радости, недоразумения, примирения, изъявление благодарности, разные памятные минуты нашей жизни. Вот красивый круглый, четкий почерк—целый литературный трактат—это Лопатин; вот тут же его шутливое стихотворение, осмеивающее чулок, который, гуляя в огороде, я вяжу для Людмилы:

Раз полез я на окошко,
Чтоб проветриться немножко [1].
...И чулок такой-то длинный,
Что нигде, ну ей же Богу,
Не найти такую ногу.

Я смеюсь.—Вот Лукашевиич; милый Лукашевич! Такой большой и такой добрый, с лучистыми детскими глазами и мелким-мелким почерком, который я отличу среди тысячи. Помтка 17 сентября; поздравление, с приложением великолепного подарка—геологической карты с фауной и флорой в красках. Вот другая записка его же от марта 1902 г., такая трогательная, так высоко поднимающая меня. Неужели сжечь и ее?! На глазах у меня слезы. Записка Похитонова, когда он был еще здоров; Василия Иванова,

[1]) Видит в огороде Веру, которая вяжет чулок.

после того, как я обидела его за неуместную шутку, что Лаговского увезли. Опять Лопатин—его рисунок: столбик, на нем мышка (я), внизу лев (Лопатин) и девиз: «Служу, а не прислуживаюсь». О, гордый лев, Лопатин! Опять Лукашевич; записка с рисунком пестрой птички. Записки и стихотворения Новорусского. Прекрасный почерк «Мити-Кипятка». Записка на английском языке Попова. Нельзя и теперь без смеха читать эту курьезную тарабарщину, странную комбинацию неподходящих слов: он благодарит за варенье из ягод моего сбора. Стихи Морозова, и много, много других. И все, серьезные и шутливые, такие ласковые, такие сердечные.

Я перечитываю и переполняюсь чувством грусти и благодарности за всю любовь, которую товарищи дарили мне. Мне кажется удивительным, как среди обстановки, которая могла только озлобить и зачерствить, они могли сохранить в себе неиссякаемый источник деятельной любви и ласки и с такой неослабевающей энергией и теплотой стремиться к украшению и духовной, и материальной стороны моей жизни. Невольно я сравниваю себя с ними. Невыгодное сравнение: сколько раз мне казалось, что я не люблю никого, решительно никого; и я вздыхаю, что нет во мне той доброты, которая при всех обстоятельствах греет окружающих.

...Все мои драгоценности перечитаны. Они разорваны на мелкие кусочки; спичка горит, и от них остается кучка пепла.

Я что-то потеряла; что-то схоронила, и это что-то—почти что человек—отражение его, частица души его, *отданная, доверенная мне.*

Прощайте, дорогие строки! Пройдет год—два, и я не буду в состоянии точно воспроизвести вас для себя. Останется лишь слабый след, общее чувство признательност к тем, кто начертал вас. То, что теперь я теряю в вас—я теряю безвозвратно и навсегда.

Прощайте, дорогие,—так много давшие; прощайте, запечатлевшие любовь, так щедро награждавшую меня за то малое, что давала сама я.

ГЛАВА XXXIII.

„Полундра“.

28 сентября 1904 года минуло 20 лет со времени суда и приговора надо мной, и в этот день, 28-го, я должна была покинуть Шлиссельбург.

Но вечером, накануне, местное начальство объявило, что увезут меня не завтра, как то следовало, а послезавтра, т.-е. 29-го числа.

Между тем, в ожидании отъезда, я 27-го уже простилась с товарищами: в крепости их оставалось 9 человек.

Все ласковые слова друг другу были сказаны; все пожелания выражены, а маленькие просьбы и поручения запечатлены в памяти. И неожиданно—отсрочка: целые сутки, которые нечем заполнить, кроме скрытого ожидания.

Прощаясь 27-го, мы были сдержаны: нельзя было давать волю чувствам и, расставаясь, чтоб никогда уже не встретиться, показать себя растроганными. У кого-то навертывались слезы, у другого—срывался голос. «Не надо! Нельзя!» говорила я, отвертываясь, чтоб не расплакаться.

«Вы, верно, будете плакать, уезжая из Шлиссельбурга», говорил один товарищ за несколько дней до моего отъезда.

— Ну, что вы?!—Горячо протестовала я. — Плакать! Разве возможно плакать, оставляя это место!

Увы! Не в момент выхода, а после, на пароходе, когда скрылись из глаз круглые башни и белые стены крепости, я плакала и рыдала в отчаяньи.

Говоря с товарищем, я думала только о месте, о каменном мешке, в котором томилась столько лет, и не думала о живых людях, которые еще останутся в этом томлении; не думала о товарищах, которых не по своей воле должна была покинуть. И когда мысль обратилась к ним, чувство возмущения против твердыни, которая умерщвляла дух, исчезло, заглушенное скорбью и отчаением: скорбью за тех, кто оставался в крепости без надежды выйти, отчаяньем—от той ни с чем несоизмеримой утраты, которая обрушилась на меня. Да! я теряла людей, с которыми, при со-

вершенно исключительных условиях, провела в тесном общении целое двадцатилетие. В течение 20 лет эти люди были единственными, с которыми я стояла в отношениях равенства и солидарности, любви и дружбы. От них одних я получала поддержку, утешение и радость. Весь мир был для меня закрыт, все человеческие связи порваны, и они, только одни они, заменяли мне семью и общество, партию, родину и все человечество. Неповторяемые обстоятельства связали нас неповторяемыми узами. И теперь эти узы разрывались при условиях, исключительно тяжелых для одной из сторон.

Было что оплакивать, о чем в отчаяньи рыдать!

«Те» оставались томиться в безнадежности, быть может, умереть в ней, а я—я, словно до нитки душевно ограбленная, вступала в новую полосу жизни, которая должна бы зваться освобождением, воскресением, но, как запоздалая и однобокая радость, звучала иронией и насмешкой.

29-го сентября, в 4 часа, вахмистр отпер дверь моей камеры и я переступила ее порог в *последний* раз. Серьезная, ушедшая в себя,без радости, как-будто и без горести, я шла по коридору, устройство которого из сетки и балкона я, при поступлении в крепость, никак не могла понять; шла по мостику, пересекающему сетку, которая делит здание на два этажа. «Мост вздохов» звала я его в память моста, по которому во дворце дожей венецианские крамольники шли на казнь. Сотни и целые тысячи раз проходила я по этому мосту, примыкающему к камере № 26, в которую я была заключена при поступлении в крепость. По нему каждый день я шла на прогулку, как теперь шла в последний раз. Лестница и крыльцо, некогда так удивившие меня своим видом, не вязавшимся с наружностью тюрьмы, похожей на конюшню или на фабричное здание...

Небольшое пространство тюремного двора и постройка, в которой помещается кордегардия—рубеж, на котором кончается наше мертвое царство и за который много лет выносили только покойников.

Уверенным, привычным шагом иду я по привычным местам, как ходила раньше, тысячи раз ходила; иду, как-будто

меня ждет обычная прогулка или работа в мастерской, а не великий перелом жизни—возвращение в «*мир*»...

Но как только я переступаю за рубеж, вхожу в *новую* непривычную обстановку—мне делается дурно: тело теряет равновесие, пол, как вата, подается под ногами, а стена, за которую я тщетно стараюсь ухватиться рукой,—быстро, как декорация, убегает вперед. «Я не могу идти!» с плачем восклицаю я. «Я не могу идти—стена двигается!»

Сопутствующие жандармы подхватывают меня, не давая упасть. «Это от свежего воздуха», успокоительно объясняет вахмистр. Эти слова о воздухе в комнате, которая никогда не проветривается и где днюют и ночуют из года в год 12 солдат гарнизона, теперь выстроившихся в ряд,—сразу отрезвляют меня.

Одна минута—и мы выходим. Я оборачиваюсь назад и отдаю последний поклон по направлению к тюрьме. Там, где только можно, товарищи, прильнув к железным рамам окон, машут платками: «Прощайте! Прощайте!»

Пароход, который должен увезти меня в Петербург, еще не пришел и мне приходится ждать его в душной и пыльной канцелярии, где комендант и его подчиненные толкутся без всякой надобности.

«Не хотите ли чаю, Вера Николаевна?» спрашивает комендант.

Хороша эта «Вера Николаевна!»

В продолжении 20 лет для меня не было имени «у них». 20 лет я была для них только номером; № 11-й постоянно звали они меня; какие-нибудь 10 минут назад я все еще была № 11-й... А теперь вдруг стала: Вера Николаевна.

Нет! не хочу я их любезности.

Проходит час, быть-может, больше. Наконец, является смотритель: неприятный, незначительный, упрямый человек, к которому все мы относились брезгливо. «Пожалуйте», произносит он, и небольшой толпой мы двигаемся к воротам крепости. Несколько шагов еще—и тюрьма, в которой остаются товарищи, скроется из глаз. Но я не оборачиваюсь—боюсь обернуться: хочется, во чтобы то ни стало, сдержать свои чувства.

За воротами—направо, лежит Ладожское озеро. Нисходящее солнце освещает его и в отраженных лучах оно блестит, ослепительное, как ртуть, наполняющая широкое плоское блюдо.

Впереди небольшого мыса, которым кончается остров—темнеет Нева и ее воды, покрытые мелкой рябью, отливают свинцовым блеском. Посреди течения маленький белый пароход стоит неподвижно, а на другом берегу, в нежно розовой дымке, смутно выявлены очертания селенья.

Все красиво. Я сознаю эту красоту, но *не чувствую* ее, не радуюсь ей, не восхищаюсь, и сама дивлюсь, что остаюсь холодной и только наблюдаю.

Солнце стоит на *свободном*, ничем не ограниченном горизонте. Ну, так что же!

Темная полоса облаков протянулась на западе. Какой акварельной краске соответствует цвет этого облака,—размышлю я, и определяю: Neutral Tinte. Взглядываюсь в целое,—в уме встает вопрос: какую иллюстрацию в «Ниве» *воспроизводит* этот ландшафт?..

В катере, в сопровождении смотрителя и жандармов, я подъезжаю к пароходу: на нем не видно ни души.

«Полундра» читаю и запоминаю я его названье.

«Полундра» на жаргоне матросов означает: «Берегись!» объясняет, несколько дней спустя, на свиданьи, мой брат Николай.

Сколько раз потом это слово «Полундра» сжимало мне сердце! На пороге новой жизни, после всего, что было, вместо бодрящего слова привета, судьба грозно вставала предо мной и бросала жестокое: «Берегись!»

Хотела ли она предостеречь: «Не питай иллюзий!» Хотела ли сказать: «Мало! будет тебе и еще!»

И зловещее предостережение мучило, суля и за стеной горести и печали.

На пароходе, недалеко от Петербурга, я спросила, куда меня везут?

Смотритель отвечал: «Вчера ваших двух товарищей[1]) я

[1]) Василия Иванова и Ашенбреннера.

отвез в Дом предварительного заключения, но вы будете в Петропавловской крепости».

Сердце сжалось: опять крепость!

...Вся в огнях сияла великолепная набережная Невы, когда, около 10 часов вечера, «Полундра» остановилась у Петропавловской крепости.

«Сходите», говорит жандарм, указывая место, где, обыкновенно, кладут сходни.

Но я *ничего не видела*, и не двигалась с места.

«Что же вы нейдете?» понуждал смотритель.

Но я была слепа: «Тут ничего нет», отвечала я.

«Как нет!.. Тут сходни: идите же»!

«Да, нет: тут вода. Куда тут итти?!» настаивала я.

Два жандарма взяли меня под руки и свели на землю, где нас ждала карета.

...Железные решетчатые ворота Трубецкой куртины Петропавловской крепости мне знакомы. 20 лет назад я выходила отсюда, «оставив всякую надежду», и жалостливый взгляд «присяжного» солдата крепости участливо провожал мою фигуру в сером халате с тузом на спине.

Лестницу на верх и длинный коридор я тоже знаю: по ним я проходила каждые две недели на 20-ти минутное свиданье с матерью и сестрой.

Вот и камера № 43, в которой до суда я провела почти два года; но мы проходим мимо: меня помещают в другой камере, в другом коридоре.

Камера большая, но с низким потолком; вместо прежнего керосина она освещается электрической лампочкой.

Неприятно на новом месте! Но едва я села на койку и думала собраться с мыслями—щелкнул замок и быстрыми шагами вошел пожилой высокий человек в офицерской тужурке. Лицо—худое, бесцветное; неприятные серые выпуклые глаза.

«У нас вам будет хорошо», рекомендует он мое новое жилище, и обводит камеру широким жестом руки. «Не то, что прежде: электричество и все удобства», говорит он, указыва на лампу и на W. C без крышки, снятой, как я

потом узнала, чтоб при протестах заключенные не могли производить шум, хлопая крышками.

Что такое?—встревожилась я. Повидимому, этот господин расчитывает, что я буду долго пользоваться его гостеприимством. Неужели же, вместо отправки в Сибирь, я буду оставлена здесь, и из одной крепости только перешла в другую? А «он» начинает забрасывать меня вопросами о Шлиссельбурге: как я жила? имела ли книги? давали ли мне свиданья с родными?

В довершение всего он бесцеремонно, бес спроса, усаживается на койку рядом со мной, подобрав одну ногу под себя. Тут уж я не выдерживаю. В тюрьме я одичала; я отвыкла от людей; я никогда ни с кем не оставалась в камере наедине; меня пугает этот незнакомый назойливый человек, усевшийся на мою койку, поджав ногу.

«Уйдите! уйдите!» гневно, возвышая голос, обращаюсь я к нему и поднимаюсь с места.

Смотритель, повидимому, никак не ожидавший такого приема, соскакивает с койки и мгновенно исчезает.

Наконец-то я одна, но не могу утишить волненья: столько было пережито в этот день и столько еще неизвестного предстоит впереди! Увезут меня или оставят здесь? *Как* я увижусь с родными? Мать умерла—не дождалась меня! Это лучше. Какое это было бы свиданье? Она на одре смерти; меня привезли бы к ней на-дом с жандармами... Что могли бы сказать друг другу: умирающая мать и через двадцать лет вышедшая из тюрьмы дочь! Никакая душа не выдержала бы такой встречи... И жандармы стояли бы тут же у дверей...

...Не могу успокоиться: как убежать от осаждающих мыслей? Хоть бы книгу иметь под рукой, и чужими мыслями заглушить свои!

Я стучу в дверь: «Дежурный, пожалуйста, достаньте что-нибудь почитать: на новом месте я не засну».

— Не знаю, отвечает жандарм.—Библиотека закрыта, но я спрошу.

Через четверть часа, высокий стройный унтер-офицер, с красивым интеллигентным лицом, подает мне книгу и в

тот же момент из нее выпадает лист. Я поднимаю: о, чудо!— предо мной прелестный портрет Надсона.

Я перелистываю книгу его стихотворений. Поэзия Надсона не удовлетворяет меня. Я слишком сильно чувствую в нем человека слова, а не дела, и это отталкивает меня. Но мое настроение меняется: слабая воля Надсона возбуждает мою силу.

Я больше не боюсь—испуг не владеет мной. Сегодня уж ничего не случится, а завтра—о завтра не надо думать!

Я ставлю портрет перед собой на стол, прислоняя его к кружке: со мною друг,—я не одна.

Куранты Петропавловской крепости поют; поют то самое, что пели 20 лет назад... Я засыпаю.

Шумят темные волны Невы; бежит белый пароход «Полундра»; бежит и уносит в *Неизвестное*. Но я еще не знаю, что «Полундра» значит: «*Берегись*!»

ГЛАВА XXXIV

Первое свиданье.

Прошли три дня, и мне все еще не давали свиданья.

— Вы будете иметь свиданье с родными в тот день, когда и другим дают его,—сказал смотритель.

Это было бездушно, и было мудро.

Ожидание, как бы трепетно ни было оно, не может длиться бесконечно. Утомленное напряжение падает, и на 4-ые сутки я почти перестала волноваться и ждать. Я углубилась в чтение, взяв Карлейля: «Герои и героическое».

Наконец, на четвертые сутки, около часа, вошел смотритель.

«Приготовьтесь, сказал он.—«Брат и сестра пришли к вам: сейчас вас поведут на свиданье». И, увидав побледневшее, испуганное лицо, он прибавил: «Я сказал им, *чтоб они вели себя так, будто ничего не было*».

Будто ничего не было!

Это было бездушно, и было мудро.

Это была целая программа; программа не только *для них*, для брата и сестер, но и *для меня*, а у меня, ведь, никакой программы не было!

Программа говорила: Притворитесь. Разыграйте вместо драмы пьесу: «*Как будто ничего не было*!». Не бросайтесь на земь, не колотитесь головой об пол, не рыдайте в судороге души и тела. Наденьте маску! Потушите в душе все огни!

...Меня повели по корридорам, лестницам и незнакомым переходам, и опять шаги были неуверенные и рука искала опоры, цепляясь за стену. Дверь отворилась.

Сидел брат, сидели сестры.

Сидел плотный, солидных лет, красивый инженер, проложивший себе в жизни широкую дорогу—мой брат, которого я знала и помнила румяным безбородым юношей.

Сидели полные, солидные дамы, матери семейств, изведавшие десятилетия житейских перипетий—мои сестры, которых я знала и помнила нежными молодыми девушками.

И стояла я, как в романе Диккенса, стояла безумная старуха в лохмотьях подвенечного платья, остановившая «много лет назад часы на цифре XII, тот день, когда в условный для обряда час она узнала, что вероломно обманута—жених не явится.

Моя жизнь остановилась 20 лет тому назад, и я жила в безумной иллюзии, что часы жизни все показывают полдень.

Брат усадил меня перед собой. Он взял мои руки в свои руки. Он держал их так все время.

Боясь пошевелиться, я старалась смотреть только на него: он меньше изменился, и я искала, хотела найти прежнего румяного безбородого Петю. Брошенной в измененное, чужое и чуждое, во что бы то ни стало, надо было найти знакомое, близкое, родное. Мало-по-малу, сквозь густой флер настоящего, проступали нежные очертания давно прошедшего. Я начинала узнавать, находить то, чего искала. Казалось, в смутной дали, среди тумана смешения, хаоса и неясности я нахожу хрупкую веху и силюсь привязать к ней паутинную нить воспоминанья, чтоб, протянув на протя-

жении 20 лет, связать прошлое с теперешним несчастливым для меня часом...

...О чем говорили мы? Не помню. Были слова, пустые, звуки тусклые и неверные, как-будто падали и звучали, одна за другой, фальшивые монеты, которые бросают на мраморный стол. Потушили огни, играли пьесу: «*Как-будто ничего не было*».

«Кончайте свиданье!» возгласил смотритель, вставая.

...В эту ночь, часто просыпаясь, я чувствовала себя на границе безумия: в голове стремительно и безудержно неслись слова, целый каскад разнообразных пестрых слов, бессмысленных, ничем между собой несвязанных слов. Кажется, это были одни только имена существительные. Они сыпались, как из вытрясаемого мешка сыплются белые скомканные бумажки, и падали, как падают искры из глаз после сильного удара кулаком. И в то же время сознание, как посторонний наблюдатель, ужасалось и спрашивало: что *это* такое?

Неужели *это* останется, и я схожу с ума?..



ПРИЛОЖЕНИЯ.

К ГЛАВЕ II. (Первые годы).

У меня сказано—«часов не было». На это Новорусский заметил мне, а другие товарищи подтвердили, что на крепостном дворе солдаты ходили звонить на колокольню. Но я не слыхала: первые годы жандармы открывали форточку во время прогулки, а моя камера находилась на стороне, противоположной церкви.

К ГЛАВЕ VI. (Бумага).

К матери.

Если, товарищ, на волю ты выйдешь,
Всех, кого любишь, увидишь, обнимешь,
        То не забудь мою мать!
Ради всего, что есть в жизни святого,
Чистого, нежного—нам дорогого,
        Дай обо мне ты ей знать!
Ты ей скажи, что жива я, здорова,
Что не ищу я удела иного—
        Всем идеалам верна...
Было мне трудно здесь в первое время:
Страшной разлуки тяжелое бремя,
        Думала, сломит меня.
Но не сломило: Теперь не бледнею,
Что уж надежды в душе не имею
        Мать дорогую обнять!..
Мать не прошу я любить: сердце чует,
Что и без просьб она любит, горюет,
        Образ мой в сердце хранит.
Но пусть не плачет, меня вспоминая:
Я весела... я бодра... Пусть родная
        Горем себя не томит!
Пусть лишь в молитвах меня поминает,
Пусть лишь крестом издали осеняет—
        Дочь трудный путь да свершит!..

1887 г.

*
* *

Прощальный взгляд сестры любимой
Доселе в сердце я храню:
Тот взгляд любви невыразимой
С собой и в землю схороню.
Казалось, в трудный час разлуки
Все чувства вдруг проснулись в ней,
И любящего сердца муки
Отозвались в душе моей.
В надежде, увидаться снова,
Ушла.... не оглянулась мать!
Сестра ж осталась у порога,
Чтоб этот взгляд последний дать.
Со взором, полным состраданья,
В глубокой скорби и тоске,
Безмолвным символом страданья,
В тот миг она казалась мне.
Когда бы поднял надо мной
Палач на плахе свой топор,
Едва ль бы с большею тоской
Смотрел тот жгучий, скорбный взор!
И стало на сердце мне жутко—
А все в дверях стоит она...
Но вот одна, одна минутка—
И связь живая порвана!
Дверь заскрипела, закачалась
И хлопнула в последний раз....
За ней все та же скорбь осталась,
Но не видать уж скорбных глаз!

1887 г.

Старый дом.

Вот деревня... вот дом... К небесам
Поднимаются стройные ивы...
Змейкой вьется река по лугам,
А кругом расстилаются нивы...

Не затейлив пейзаж, и не раз
Я видала красивей картину!
Но привычный и любящий глаз
Все рисует тот дом, ту равнину.

Сколько лет я уж там не была!
Но знакомо там все, и все мило:
Там я детство свое провела,
Там училась, росла и шалила...
Этот дом уж давно опустел
И стоит молчалив, как гробница...
А когда-то он смехом звенел,
И мелькали в нем милые лица.
На каникулы шумной толпой
Мы в родное гнездо прилетали...
Шаловливой, веселой гурьбой
Мать с отцом, как венком окружали...
Там я первую книжку прочла.
Мысль и чувство над ней пробудились
Там же, после, цель жизни нашла—
Идеалы в душе зародились...
В тех местах услыхала впервой
Я горячие речи признанья...
Там мне брат положил золотой
В башмачок пред обрядом венчанья...
Там добру и науке с сестрой
Свою жизнь посвятить мы решились!
И, судьбу вызывая на бой,
Над отцовской могилой склонились...
Мудрено ли, что эти места:
Сердцу дороги, в памяти живы?
И в душе не смолкает мечта
Еще раз услыхать шелест ивы.

1888 г.

К ГЛАВЕ XXI. (Посещения сановников).

Княжна М. М. Дондукова-Корсакова.

Шлиссельбургская крепость была словно заколдованный замок в сказке: ни туда, ни оттуда—все пути, все дороги заказаны.

По отношению к узникам: «отсюда не выходят, а *выносят*».

По отношению к тем, кто за стенами крепости: «Сюда входят, но не выходят»,—заявляли сановники.

Между нами ходила легенда, будто великий писатель земли русской, Толстой, хотел проникнуть в наше заколдованное царство. Но ворота для него не отворились—заклятие не было снято. Говорят, гр. Толстой писал в то время свое «Воскресение» и думал почерпнуть в стенах Шлиссельбурга живой материал для художественного воспроизведения.

Откуда проник этот слух, была ли то правда или неправда, но два изречения: «Отсюда *выносят*, а не выходят»... и «Сюда входят, но отсюда *не выходят*»—эти два изречения, как нельзя лучше формулировали безнадежность и полную отрешенность от мира для тех; кто попал на «Остров мертвых» в истоках Невы.

О том, что многих действительно *вынесли*, я уже говорила; говорила также и о том, что несколько человек срочных и амнистированных *вышли*.

Но войти в крепость к нам, войти и выйти, посетить нас—это было неслыханно. И все-таки через 20 лет после открытия новой тюрьмы нашлись волшебники, разрушившие чары заколдованного замка. Они пришли к нам не по долгу службы, не в качестве официальных должностных лиц. Они пришли к нам, как к *людям* и в *качестве людей*, во имя братства и любви.

То была Мария Михайловна Дондукова-Корсакова и петербургский митрополит Антоний.

В один из июньских дней 1904 года ко мне вошел комендант Яковлев и, отпустив, сверх обыкновения, всех жандармов, сказал: «В Петербурге есть очень добрая старушка, княжна Мария Михайловна Дондукова-Корсакова. Она имеет большие связи в Петербурге и при Дворе. Она может много сделать для тюрьмы, напр., относительно книг —и журналов.... Он ахотела бы видеть вас. Примете ли вы ее?»

В то время мне оставалось до выхода из Шлиссельбурга всего три месяца, и так как какой бы то ни было своекорыстный мотив у меня отсутствовал и за короткий срок пребывания в крепости я могла не опасаться религиозного натиска, возможного со стороны лиц, получаю-

щих столь необычайное полномочие посещать государственных пленников, то я и ответила: «Отчего же нет, раз она этого желает?»

Подобный же разговор произошел у коменданта и с моими товарищами. Один только Лопатин ответил в юмористическом тоне: «На что мне эта старушка?!—сказал он.— Но, если придет, я под кровать не спрячусь»...

Комендант сердито хлопнул дверью, правильно приняв слова Лопатина за отказ.

Как все необычайное, весть о предстоящем посещении всколыхнуло нас. Невольная тревога охватила и меня.

И вот, по прошествии нескольких дней, моя дверь неожиданно отворилась.

На пороге стояла довольно высокая, полная дама. Красивые седые волосы обрамляли старое, с правильными чертами, породистое лицо, цвета светло-желтого воска. Две вытянутые руки простирались ко мне и грудной, задыхающийся, старческий голос произносил: «Вера Николаевна! Вера Николаевна! Сколько раз я стремилась к вам!»...

Это было словно видение, жуткое, страшное... Совершенно безумная мысль, что это—моя мать, которую я не видала уже 20 лет и которая уже умерла, не дождавшись моего выхода, заставила трепетать все фибры моей души и тела. И когда теплые руки Марьи Михайловны прижали мою голову к ее груди, я, вне себя, разрыдалась.

Зачем она напомнила мне мать, потеря которой *еще* так болезненно владела мной? Мать *могла* походить на нее— этого было достаточно... Я не могла успокоиться... Марья Михайловна только гладила мои волосы, а я плакала и могла только лепетать: «Как могли вы притти к нам? Как могли вы пробраться к нам? *Сюда входят, но не выходят!*»...

А Марья Михайловна, со светлой улыбкой на прозрачно-желтом лице, ласково блестя выразительными серыми глазами, растроганным голосом говорила: «Я хочу со всеми вами делить одну долю—*вашу* долю; я хочу жить вместе с вами в тюрьме и подчиняться всему тому, чему вы подчиняетесь... Я просила дать мне камеру и еще буду

просить об этом... А пока мне предлагают поселиться в крепости у коменданта: он такой добрый, славный.

О, милая Марья Михайловна! Как трогательно было это заявление, ее желание делить нашу долю! Какое детски-чистое, наивное представление о возможном и невозможном! Она была вся тут, с ее верой в доброту людей, верой, что если совершается зло и на свете есть жестокость, то лишь бессознательные, по неведению, а стоит только объяснить, рассказать кому следует,—и все будет по-хорошему, по-божески.

Но не у коменданта поселилась Мария Михайловна, а в городе. Трогательно было слышать от нее, этой аристократки по рождению и положению в обществе, что она сняла какую-то комнатушку у женщины, ничего не умеющей делать, что ей, при ее слабом здоровье и 76-тилетнем возрасте, приходится питаться плитками шоколада и сухим печеньем, и что на воскресенье она уезжает в Петербург к сестре, чтобы немножко откормиться.

Услыхав об этом, мы стали при посещениях Марьи Михайловны, приносить ей произведения наших огородов: огурцы и всевозможные ягоды с кустов, разведенных нами. Эти маленькие приношения всегда принимались с самой привлекательной благодарностью, не ради их самих, а как выражение нашего внимания и ласки. В огороде Фроленко росла прекрасная вишня, посаженная им. Каждую весну она стояла, вся облитая белым цветом, и Фроленко с гордостью истинного садовода, звал всех по очереди посмотреть на чудное дерево: «Стоит, как невеста»,—говорил он. Но надежды на плоды год за годом оказывались тщетными, цветы оказывались пустоцветом. Наконец, в 1904 г. на дереве оказалось 16 вишен! Как берег их Фроленко! Хотел шить мешочек из марли, чтобы укрыть от воробьев. Все 16 дозрели; 13 из них Фроленко роздал каждому из нас по одной, а три остальных я должна была торжественно преподнести Марие Михайловне. Такова была тюремная идиллия...

В ветер, дождь и бурю на лодке она переправлялась из города на наш остров и, посетив того или другого из

нас (обыкновенно двоих), в сумерки возвращалась домой, одна, проходя по пустынным улицам захолустного уездного городишки.

В этой старости, старости тела и молодости души, игнорирующей физическую усталость и материальные неудобства во имя луча теплой любви, который она хотела принести нам, было так много умилительного и человечно-прекрасного, что чаровало нас в нашем остывшем, окоченелом существовании.

С первых же встреч было ясно, что княжна—человек совершенно не от мира сего. Не только в практической жизни она была совершенным ребенком, не умеющим различить полфунта от фунта и едва ли знающим счет деньгам—она совершенно не разбиралась в общественных делах и находилась в полном неведении политики и каких бы то ни было социальных идей и теорий. И напрасно, совершенно напрасно комендант Яковлев дежурил у притворенной двери камеры, когда Марья Михайловна беседовала с кем-нибудь из нас. Напрасно прислушивался он, не сорвется ли с ее уст какая-нибудь новость о том, что делается на-миру. Мария Михайловна была вполне безопасна в этом отношении, и Яковлеву ни разу не пришлось ворваться вихрем, чтобы прекратить беседу [1]). Высшее начальство знало, кого оно пускало. Религиозная идея одна безраздельно царила в уме княжны. По ее рассказам, еще в детстве она задумывалась над участью заключенных в тюрьму и строила планы об облегчении их участи. Тяжкая болезнь, приковавшая ее к постели в период, когда формируется женщина, кажется, положила первое начало ее религиозной экзальтации. Молодая девушка решила, что никогда не выйдет замуж и посвятит свою жизнь делам любви и милосердия. Она отказалась от наследства, выговорив лично для себя крошечную *годовую* ренту в 600 руб. и отдав остальное в пользу общины сестер милосердия, основанной ею в Порховском уезде, с больницей для сифи-

[1]) Однажды он, однако, вызвал Марию Михайловну из моей камеры, вообразив, что она говорит о русско-японской войне: она же говорила о своей общине *сестер милосердия*.

литиков. Мария Михайловна рассказывала мне, что она посещала уголовных преступников, убийц и безвестных бродяг в Литовском замке и проституток в Калинкинской больнице. Ей приходилось выслушивать порою площадную брань, богохульство и выносить потоки грязи.. Но лаской и теплым обращением, любезным вниманием к нуждам озлобленных людей, поносивших ее, она, в конце-концов, покоряла сердца. С энтузиазмом ревнителя Армии спасения[1]), она рассказывала о превращениях, которые ей приходилось наблюдать. Под ее влиянием, закоренелая жестокость смягчалась и не один человек, измученный жизнью и преследованиями, умирал, как она говорила, в мире с Богом, с людьми и с собой...

Мне неловко было распрашивать и я знаю только мельком из слов Марии Михайловны, что она пережила период религиозных исканий. Было время, когда она отпала от православия, и, находясь в Англии, примкнула к так-называемой апостолической церкви, к тем, кто у нас в России назывались «пашковцами». Но впоследствии вернулась в лоно православия. «Я нашла, что человек должен умереть в той вере, в какой родился»,—говорила она. Но в разговоре все-таки проскальзовали отклики прошлого отступления от ортодоксального церковного учения, как, напр., отрицание постов, икон, какая-то странная теория, что человек состоит из трех элементов: тела, души и духа, при чем только дух не материален и бессмертен, а душа, тесно связанная с телом и зависимая от него, столь же материальна и смертна, как и самое тело. Затем непоколебимое убеждение, что раз человек крещен, то хотя бы потом и стал совершенно неверующим, все же никогда не лижится благодати Божией...

Мария Михайловна по своему уму, благородству и силе характера, с громадной выдержанностью, которую могло дать только воспитание в утонченной аристократической среде, была превосходным типом человека, все интересы

---

[1]) И увы—однажды, к моему удивлению и огорчению, даже с аффектацией, свойственной членам этой Армии...

которого сосредоточены в области религии. Можно было не разделять ее религиозных убеждений, но нельзя было не уважать их искренности и не остановиться с почтением перед поглощением в ней решительно всех интересов личности сферой жизни духовной. Как характер, как личность, Мария Михайловна была обворожительна. Способность жить ради одной идеи, всецело отдаваться ей, не может не производить впечатления, не привлекать тех, кто приходит в соприкосновение с обладателями такой способности. Именно эту последнюю я и ценила всего более в этой необыкновенной женщине, которая заслуживала бы обширной и всеисчерпывающей биографии.

Невозможно было скрыть от себя: в лице княжны Дондуковой-Корсаковой с одной стороны и нами—с другой, сталкивались два непримиримых миросозерцания. Она—невеста Христова, витающая в небесах и думающая лишь о спасении души ближнего своего для царствия небесного... Мы—дети земли, дети скорбей и страданий земных, душу отдающие за то, чтобы на грешной земле жилось лучше... Она—глашатай мира, враг насилия, отступающая в ужасе пред пролитием крови, будет ли это на уличной баррикаде или в единоличной схватке террориста с врагом, будет ли это, наконец, на эшафоте. И мы—бунтари-революционеры, не останавливавшиеся перед поднятием меча,—мы, находившие моральное оправдание себе в том, что бросаем палачу и свою голову... Полная противоположность: вера в личного Бога, в чудо, религиозная экзальтация, чующая ночью подле себя, среди обыденной прозы, присутствие Христа и наступление дня катастрофы Страшного Суда... И мы—позитивисты, рационалисты, видящие Бога в идее добра или всюду распространенного начала жизни.

Положение выходило деликатное и щекотливое: ценить и дорожить личностью и быть на стороже независимости своего собственного миросозерцания. Из прошлого мы знали, что к подсудимым по процессу 193, в Дом предварительного заключения, ходили и даже брали некоторых на поруки последователи секты Пашкова, и нечего было закрывать глаза, что, кроме гуманных стремлений, у чрезвы-

чайно умной и энергичной Дондуковой-Корсаковой была намеченная цель—уловление наших душ и возвращение их в лоно православия. Как всякий фанатик, она верила в возможность этого и страстно желала успеха своей миссии. Впоследствии она сама рассказала мне, как она получила чрез Плеве доступ к узникам Шлиссельбурга.

«Еще *никто* и *никогда* не обращался к ним со словом любви.. говорила она Плеве.—Допустите меня к ним; быть может сердца их смягчатся и они обратятся к Богу».

Министр молчал, размышляя, а потом, посмотрев вдаль, промолвил:

— Возможно, что вы и правы...

Разрешение посещать Шлиссельбург было дано.

«Добрая старушка», как ее простодушно характеризовал Яковлев, совершенно не отвечала такому эпитету. Это была величавая, крупная фигура, вооруженная умом, силой воли, религиозная энтузиастка, жаждущая подвигов прозелитизма и пленительная в своем обращении.

Облако тотчас же бросило полутень на наше взаимное отношение.

Однажды Мария Михайловна принесла мне немецкую книгу,—произведение какого-то немецкого пастора. Расхвалив автора, она просила меня заняться ее переводом. Когда я познакомилась с содержанием, то увидела, что это была сплошная нелепица, в которой события Ветхого Завета толковались как прообразы того, что происходит теперь. Так, эпизоды из истории пребывания Авраама и Сарры в Египте, связывались с Kulturkampf'ом, предпринятым Бисмарком в Германской империи, при чем Сарра являлась прообразом церкви, а Бисмарк—Фараоном.

При следующем визите Марии Михайловны я резко раскритиковала автора, сказав, что невозможно пускать в печать подобную вещь, но что для личного удовольствия ее я готова перевести ей несколько глав из этого удивительного произведения.

Мария Михайловна не могла скрыть своего разочарования и наотрез отказалась от того, что она справедливо сочла за вынужденную любезность. Тут внезапно визиты

Марии Михайловны оборвались. Позднее я узнала, что причиной было убийство Плеве: он дал разрешение, и с его смертью оно падало.

Однако, Мария Михайловна была не из тех, кто отступает. С неутомимым рвением она предприняла новые хлопоты, и, с Высочайшего разрешения, через известный промежуток времени появилась снова на нащем горизонте, и в этот раз старательно подготовляла почву для посещения нас ее другом, митрополитом Антонием.

При визитах Марии Михайловны, от которой уже никоим образом нельзя было ждать ни книг, ни журналов, ни каких-либо вестей, так как все это было вне сферы ее интересов, стремлений и, быть может, даже возможностей, при ее визитах,—говорю я—приходилось быть постоянно начеку. Надо было напряженно следить за тем, чтобы разговор не перешел на религиозную тему; надо было осторожно направлять его в какую-нибудь иную сторону. В противном случае собеседница быстро подхватывала нить и начиналась какая-то сбивчивая, мистического содержания, речь, которую неделикатно было прервать и вместе с тем неудобно выслушивать без возражений: ведь, молчание так легко было принять за одобрение или согласие... Боязнь оскорбить религиозное чувство искренно верующего человека и опасение поступиться чем-нибудь своим, создавало напряженную атмосферу, действующую на нервы. Являлось недовольство либо собеседницей, либо собой, и неловкость положения так тяготила, что нередко перевешивала восхищение человеком.

Думается, что это испытывала не одна я, но и товарищи, и Лопатин, в сущности, выбрал самую удобную и спокойную позицию.

Не всех одинаково часто посещала Мария Михайловна: кроме меня и Морозова, особенное внимание она уделяла Новорусскому, Стародворскому и Попову. Эти трое принадлежали к духовному сословию, и в отношениях Марии Михайловны к ним был как бы расчет, что семейные традиции, воспоминания детства и условия воспитания через духовное училище, семинарию и вплоть до духовной ака-

демии, как это было с Новорусским,—все это сулит наиболее подходящую почву для возврата к прежним верованиям.

После моего отъезда из Шлиссельбурга, дело дошло уже до построения тюремной церкви, от чего мы упорно отказывались, когда в прежние годы с нами заговаривали на этот счет. Но на этот раз Мария Михайловна так усердно хлопотала, что постройка началась. Предполагали, что хоть пением, да привлекут туда товарищей.

Узы хороших отношений между мной и Марией Михайловной оказались так крепки, что после моего выхода из Шлиссельбурга она не только посетила меня в Петропавловской крепости, но и отправилась, несмотря на свои 76 лет, ко мне в ссылку в посад Нёноксу, Архангельской губернии, преследуя все ту же цель—уловить мою душу. Но о ее жизни со мной в этой книге говорить я не буду.

Митрополит Антоний.

Когда и при каких обстоятельствах возникли дружеские отношения между высшим иерархом русской церкви, митрополитом Антонием, и выдающейся по уму и энергии аристократкой, княжной Марией Михайловной Дондуковой-Корсаковой, все душевные силы которой были сосредоточены в области религиозной мистики,—я не знаю.

Но Мария Михайловна с самого начала знакомства с нами выражала глубокое почтение к своему другу-митрополиту и свое настоятельное желание, чтобы мы увиделись с ним. Она подготовила и уравняла ему путь в крепость и он явился [1].

Он вошел к нам после обычного опроса каждого из нас комендантом: «Желаете ли принять петербургского митрополита?»

---

[1]) По мнению Новорусского, это было не после, а *до* убийства Плеве

Отказался один только Лопатин. Среди торжественной обстановки, в приподнятом настроении обоих сторон, митрополит вошел, высокий, статный, в белом клобуке, еще увеличивавшем рост,—в клобуке, где на белом поле красиво сверкал большой бриллиантовый крест. Белый клобук прекрасно оттенял здоровый, умеренный румянец лица с чисто русскими, немного расплывшимися от возраста, чертами. А блеск бриллиантов как-будто мягко отражался в серо-голубых, приветливых глазах. Наружный вид был в высшей степени привлекательный и приятный.

Просто, не ожидая, что я подойду под благословение, он протянул мне руку для пожатия и сел.

«Вы, кажется, давно в заключении»?—начал он своим ласковым, серьезным голосом.

— Скоро будет 22 года.

«Ах, как долго! Верно, уже привыкли и, как Бонивар в Шильоне, пожалуй, будете жалеть, выйдя из тюрьмы»...

— Ну, что вы? Возможно ли жалеть о тюрьме, в которой пережито так много тяжелого?

«Вы, ведь, не верите в личного Бога... Но неужели никогда в трудные минуты ваша мысль не обращалась к небу, и вы не искали утешения в религии?».

Я ответила правдиво. Я сказала, что вера, которая была привита мне в детстве матерью, очень религиозной женщиной, рассеялась во мне без особой борьбы и колебаний уже в 17-летнем возрасте. Был период, когда с юношеским задором и насмешкой я относилась к мнимым христианам, которые вместо самоотвержения и любви к человечеству, все свое христианство полагают в постах, молитвах и исполнении обрядов. Социалисты, по своим высоким требованиям к личности, казались мне гораздо более близкими духу Христа, чем эти люди с их формализмом, нетерпимостью и связью с полицейской государственностью.

Позже, благодаря серьезному отпору со стороны матери, на которую я распространила свои остроты, я стала

сдержаннее, когда однажды за обедом мать, евшая постное, не поднимая глаз от тарелки, твердо и проникновенно сказала мне: «Надо уважать чужие мнения: я никогда не смеюсь над твоими». Этот простой урок, простые, с чувством сказанные, слова я никогда не могла забыть.

Когда же в трудные первые годы заточения мне казалось, что на земле для меня ничто уже не существует, что я отрезана от всего и всех и брошена в безнадежное, безбрежное одиночество, в котором ни одна человеческая душа не услышит моего голоса и не скажет слова сочувствия—в эти трудные первые годы я с тоской думала о том, зачем я потеряла веру! Зачем для меня не существует Некто, который все видит и всех слышит? Мне страшно хотелось, чтобы этот Некто, этот Всеведущий, ведал то, что переживает моя душа; чтобы он, этот Вездесущий, присутствовал и здесь, в моем одиночестве... Если никто не слышит, *не может* слышать, *пусть слышит Он.*

«Но что же, в таком случае, поддерживало вас во ся к ней уже было невозможно...

«Но что же в таком случае поддерживало вас в все эти долгие годы?»—спросил митрополит.

— Как что? Меня поддерживало то самое, что двигало и на свободе. Я стремилась к общественному благу, как его понимала. В мою деятельность я вкладывала все силы и шла без страха на все последствия, которыми грозит закон, охраняющий существующий строй... Когда же наступила расплата, то искренность моих убеждений я могла доказать только твердым приятием и перенесением всей возложенной на меня кары...

Митрополит казался тронутым. Он поднял кверху мягко блестевшие голубые глаза и с чувством тихо проговорил: «Как знать! Быть может те, кто верует, как вы, а не другие, спасутся!»

Он поднялся с своего места.

«Вы скоро покидаете эти стены? Чего пожелать вам?»

— Пожелайте найти плодотворное дело, к которому я могла бы прилепиться —сказала я.

— А вы не исполните ли мою просьбу? Осените себя крестным знаменем...

Стоя перед ним, я с удивлением посмотрела ему в глаза...

— Нет! Это было бы лицемерием,—сказала я.

— Так, позвольте, мне перекрестить вас?

Твердо и сурово я повторила: «Нет».

Высокий иерарх поклонился и белый клобук исчез за дверью.

Последняя сцена сильно взволновала меня. Зачем он предложил мне эти вопросы? Ведь, я же не могла ответить иначе! Разумеется, я произвела на него самое неприятное, жесткое впечатление, а, между тем, *он мне* так понравился... Но разве могло быть иначе? Боярыня Морозова пошла в ссылку и на голодную смерть из-за двуперстного знамения, а теперь, хотя дело не шло об исповедании веры, неужели я могла покривить душой и играть комедию из боязни не понравиться духовной особе?..

Быстро-быстро ходила я по своей камере, а митрополит обходил других товарищей. Везде было одно и то же: в детстве верил, а потом веру утратил. Один, как Антонов, потому, что не совершилось чуда, которого он жаждал и ждал; или потому, что нравственный уровень священнослужителей не отвечает высоте проповедуемого ими учения. Другой, как Морозов, под влиянием естественно-исторического мировоззрения, того пантеизма, который признает высшим началом—начало жизни, разлитой во всем существующем в природе...

«Не странно ли — сказал митрополит у Карповича,— что хорошие русские люди, выходя из детства, утрачивают религию?»...

Посещение митрополита Антония внесло большую пертурбацию в наш застывший микрокосм: каждый спешил

поделиться впечатлениями. Рассказы то трогательные, то вызывающие улыбку, сменялись один другим.

Так, у Попова, поговорив о Ростове-на-Дону, по которому собеседники оказались земляками, митрополит спросил:—Благодаря чему переносите вы свое четверть-вековое заключение?

— Я знал одну старуху,—отвечал Попов,—все ее дети умерли от нищеты и болезни; родственники выбросили ее, как ненужную ветошь на улицу, и жила она мирским подаянием... Когда ее спросили, каким образом она может переносить свою жизнь, старуха отвечала: «Господь Бог, Царь небесный, в милосердии своем создал для несчастных терпение»... То же скажу вам и я...

...В первых числах октября 1904 года, когда я была уж в Петропавловской крепости, митрополит Антоний, сверх ожидания, пожелал снова увидаться со мной.

Меня вызвали в приемную при квартире смотрителя Петропавловской крепости, Веревкина, сослуживца погибшего в Шлиссельбурге артиллерийского офицера Похитонова, вместе с которым он сражался под Плевной. Уж не было той торжественности, того парада и необычайности, которые в Шлиссельбургской крепости так приподнимали нервы. Скромная гостиная, с тусклой мебелью, и митрополит Антоний, сидящий на диване... Он снял обременявший, но весьма украшавший его клобук, и предо мной оказался простой деревенский священник с обнаженным теменем...

Разговор коснулся моих товарищей, оставшихся в Шлиссельбурге, 9-ти вечников.

От родных я знала, что вышел манифест по поводу рождения давно-ожидаемого наследника. Мне было важно знать, изменит ли это участь моих товарищей в Шлиссельбурге. Я спросила митрополита, не знает ли он чего-нибудь об этом, не было ли у него разговора об этом с министром внутренних дел Святополком-Мирским, когда он просил у него свидания со мной.

Нет, не знает.

В таком случае, не может ли еще раз побывать у него и узнать, распространяется ли манифест на шлиссельбуржцев, или они будут «разъяснены», как это не раз было в прошлом.

Узнать мнение Святополка-Мирского было потому важно, что толкование манифестов, составленных обыкновенно в общих выражениях, всегда зависело от усмотрения министров: хотят—распространят, хотят—нет...

Я спросила его при этом, какое впечатление произвела на него наша тюрьма.

«Мне кажется, им не так плохо, и, быть-может, выйди они на свободу, им стало бы хуже»...

Я так и подскочила. Было очевидно, что мой собеседник совершенно лишен воображения и не может реально представить себе, что значит лишение свободы, одиночное заключение, каторга без срока... Было ясно, что всего прошлого Шлиссельбургской тюрьмы он не знает и судит потому, что видел теперь, когда режим, после 20-ти лет, смягчился. Мук отрешенности от жизни, деятельности и друзей он не понимает, и так как видел оставшихся в живых узников твердыми и несломленными, то считал—что им довольно хорошо. О мертвых, покончивших с *собой* и сошедших с ума, он не слыхал...

Я стала говорить. Я рассказала сжато и в сильных выражениях внутреннюю историю нашей каторги. Рассказала о Минакове, Мышкине и Грачевском, этих протестантах против нестерпимого режима, ценой жизни купивших облегчение для других. Я указала ему, что угроза возврата к прошлому никогда не переставала висеть над нами и еще недавно, спустя 20 лет от начала нашего скорбного пути, нас снова хотели сжать в железные тиски, подчинив первоначальной жестокой инструкции. Я рассказала о том, что было всего два года назад, 2-го марта **1902** г.; как за ничтожное нарушение дисциплины ночью один товарищ был связан в сумасшедшую рубашку и чуть было не задушен

в незримом бессильном присутствии всех нас... Рассказала и о том, как протестовала я против этого насилия, сорвав погоны со смотрителя тюрьмы, за что должна была предстать перед военным судом и быть подвергнута *единственному* наказанию «за оскорбление действием» — смертной казни...

Митрополит словно прозрел. Он был взволнован, потрясен. Он заразился тем внутренним волнением, от которого трепетала я, и, прощаясь, сказал, что непременно побывает у Святополка-Мирского, и никогда не забудет впечатления, произведенного этой встречей... Не забыла его и я, не забыла его терпимость, его отзывчивость...

К ГЛАВЕ XXVII. (Казнь).

Мы были в полном неведении, по какому поводу произведена казнь 4-го мая. Разъяснение пришло неожиданно и совершенно чудесным образом.

Прошло несколько дней, когда за ужином жандарм нестроевой роты, помогавший дежурному при раздаче, подал Морозову пару яиц, в бумажке. Морозов развернул и увидал, что это был обрывок газеты—как-раз то место, где сообщалось об убийстве министра внутренних дел Сипягина.

Чтоб в разговорах на прогулке не скомпрометировать как-нибудь жандарма, Морозов, передавая нам эту новость, говорил всем, что, гуляя в огороде, нашел кусок газеты, который, вероятно, откуда-нибудь занес ветер.

Так мы узнали, что министром внутренних дел *был* Сипягин; до этого все перемены в министерстве сохранялись от нас в тайне. Обыкновенно, мы не знали даже — кто стоит во главе департамента полиции, в специальном ведении которого мы находились.

О том, что министром стал Плеве мы узнали случайно, когда получили том энциклопедического словаря на букву П.

Нечего и говорить, что о войне с Японией мы не должны были даже подозревать. Первый намек на нее мы

нашли в английском журнале «Knowbedge», в котором сообщалось, что в Дальне-восточных водах кит наткнулся на минные заграждения. «Значит—происходит война с Японией», заключили наши проницательные читатели. А о ходе военных действий и о русских неудачах мы судили по лицам жандармов: если они шушукались между собой и ходили, повесив голову, мы тотчас догадывались о несчастиях русской армии. Мы все были уверены, что война кончится победой Японии и, предугадывая будущее, Морозов с первого же момента объявил: «Микадо Мутцу-Хито освободит нас!»

За разгромом *должны* были следовать реформы и амнистия.

ОГЛАВЛЕНИЕ.



Кооперативное Т-во „ЗАДРУГА“

ПРАВЛЕНИЕ и СКЛАД:
Москва, Воздвиженка, Крестовоздвиженский, 9.

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН:
Москва, Моховая, 20.